

№ 10. — Октябрь 1859 года.

Пармская сцена 5 октября. — Бездействие Сардинии. — Возникновение некоторой энергии в правительствах Центральной Италии. — Приближение вооруженной реакции. — Очерк положения дел во Франции, Англии, Германии, Австрии. — Заговор в Турции.

Временные правительства Центральной Италии имели перед собою две дороги: они могли стремиться к достижению своей цели, к соединению с Пьемонтом, опираясь на энтузиазм народа, отважно возбуждая патриотизм в массах и быстро набирая как можно больше войска для того, чтобы собственною силою защищать желания Центральной Италии против австрийцев, против папы и других врагов, которые вздумали бы вооруженною рукою помешать осуществлению национального стремления. Но мы видели, что подобная отважность и самоуверенность не соответствовала духу и положению людей, руководящих делами Центральной Италии. Гораздо безопаснейшим казался для них другой способ действия: они хотели показать европейским правительствам, что не имеют ничего общего с какими-нибудь бурными демагогами и что национальное движение сохраняет под их руководством характер безукоризненной законности: они надеялись доказать, что дело Центральной Италии не заключает в себе никаких революционных тенденций, так что самые консервативные правительства могут оставаться им довольны и своею дипломатическою помощью защищать его от австрийцев. Само собою разумеется, что такая политика заключала в себе два очевидные заблуждения. Правители Центральной Италии совершенно напрасно воображали, что какими бы то ни было усилиями могут придать себе законный характер в глазах правительств континентальной Европы. Как бы консервативно ни держали себя тосканский диктатор Риказоли и романьольский диктатор Чиприани, все-таки и происхождения, и стремление их власти придавало ей неизгладимую печать революционности. Временные правительства Центральной Италии были основаны возмущением против легитимной власти, и стремятся они к тому, чтобы предотвратить восстановление законных владетелей, чтобы заменить государей, имеющих право владычествовать над своими землями по легитимному принципу, таким государем, ка-

кого само население Центральной Италии вздумало выбрать себе без всякого уважения к династическому принципу и правам, освященным трактатами. Благоприятствовать этим правительствам, по самому их происхождению, могли только державы, признающие верховную власть народа, но никак не могли правительства, основанные на легитимности. Еще ошибочнее была их надежда до такой степени предотвратить всякие народные волнения, чтобы не дать своим противникам никакого предлога обвинить национальное движение Центральной Италии в связи с демагогическими тенденциями. Одно из главных различий легитимного правительства, освященного древностью, от правительства, вчера возникшего из политического кризиса, заключается в том, что народ, недавно учредивший правительство по своему выбору, никак не может иметь той привычки все свои чувства подчинять его решению, какая господствует в народе под властью старинного и легитимного правительства. Поэтому, как бы ни старалось новое, возникшее из политического переворота правительство предотвратить шумные уличные сцены, столь противные натуральному чувству легитимных правительств, оно не может совершенно устранить подобных событий: так или иначе, но все-таки произойдет что-нибудь несообразное с обычными требованиями системы безмятежного спокойствия, потому что население уже имеет мысль действовать самостоятельно и считать себя высшей правительственной властью. Из этого надобно выводить, что если временные правительства Центральной Италии хотели удержать общественную жизнь и события своих областей в том спокойствии, без которого не могли эти правительства называть себя чистыми от революционных беспорядков, то им оставалось только стараться о восстановлении законных правительств и спешить как можно скорее передать свою власть в Романьи — папскому правительству, в Тоскане, Парме и Модене — представителям законных династий. Только быстрее восстановление прежних правительств могло предупредить революционные сцены и только отречение от своей власти в пользу законных династий могло отчасти загладить в глазах легитимности преступность революционного происхождения нынешних временных правительств Центральной Италии. Но, по обыкновенному самообольщению либералов, люди, управляющие ныне делами этих областей, никак не понимают, что они не могут не казаться преступными революционерами в глазах легитимности и что не в силах они предотвратить революционных сцен. Почти ненатуральным явлением надобно было назвать то, что около пяти месяцев Центральная Италия провела под властью временных правительств без таких сцен. Это объясняется только тем, что до половины июля военное одушевление отнимало у народа охоту ко вспышкам со всякою другою мыслью; а по заключении мира, почти до половины сентября, население центральных итальянских областей думало, что

их присоединение к Пьемонту — дело уже решенное, исполнение которого не требует никаких усилий, не подлежит никаким опасениям, что сардинский король не колеблется принять их в состав своего государства, а Франция благоприятствует такой развязке. Когда с половины сентября стал разъясняться для массы факт, с самого начала бывший очевидным для лучших публицистов Западной Европы, — когда население Центральной Италии увидело, что само должно энергически хлопотать об исполнении своего желания, которое подвержено великим опасностям, что не только Франция, но даже и Сардиния не намерены жертвовать своими дипломатическими отношениями для избавления Центральной Италии от необходимости защищать свое дело своими собственными силами, — словом сказать, как только пробудились в массах усыпленные на время мысли, заботы и опасения, свойственные периодам политических кризисов, с каждым днем надобно стало ожидать, что произойдет в том или другом городе какая-нибудь из уличных сцен, неразлучных с революционным состоянием. Надобно приписать мягкости итальянского характера то, что почти целый месяц, до 5 октября, замедлилось появление первой из этих неизбежных вспышек. Либеральные газеты наполнены очень возвышенными рассуждениями о том, что убийство графа Анвита в Парме не должно быть поставляемо в вину ни временным правительствам Центральной Италии, ни национальному движению, которым взялись руководить эти правительства. С тем вместе они расточают целые потоки еще более красноречивых фраз о преступности и гнусности этой самоуправной казни. Нам кажется, что либеральные газеты совершенно ошибаются. Само собою разумеется, что ни Фарини, пармский диктатор, ни один из чиновников пармского управления не имел намерения убивать Анвита; но что ж из этого следует? Из тех людей, которые поразили Анвита своими кинжалами, наверное также ни один за полчаса до убийства не поколебался бы сказать, что убивать какого бы то ни было преступника самоуправным образом вовсе не следует, а надобно предать его правильному суду. На другой день после этого события почти каждый из участвовавших в убийстве также наверное готов был бы согласиться, что этот поступок был великим неблагоразумием, тем более излишним, что Анвита не избежал бы наказания и по приговору правильного суда, имея против себя улики в действиях, наказываемых уголовными законами. Убийство было следствием мгновенного увлечения, которому в совершивших его вовсе не предшествовала преднамеренность и за которым наверное последовало в них сожаление о вредном для итальянского дела поступке. В чем же состоят существенные черты поведения этих людей? Они увлеклись порывом чувства. Но если этот порыв ставится теперь в характеристику им и если они называются людьми, запятнавшими себя преступлением, то каким же

образом не будет характеристика эта относиться и к движению, неминуемо соединенному с порывами, подобными самоуправной казни графа Анвити? Если этот факт служит пятном для людей, к жизни которых принадлежит, то мы не видим, каким образом может быть очищено от него и то движение, к которому он принадлежит. Идем далее. Могут ли быть освобождены от ответственности за него и люди, руководящие итальянским движением? Перед уголовным судом, конечно, — да; но перед историею и инстинктивным здравым смыслом массы — нет. Кто борется за дело, тот должен знать, к чему поведет оно; и если не хочет он неизбежных его принадлежностей, он не должен хотеть и самого дела. Политические перевороты никогда не совершались без фактов самоуправства, нарушавшего формы той юридической справедливости, какая соблюдается в спокойные времена. Перевороты волнуют народное чувство, взволнованное чувство забывает о формах. Кто не знает этого, тот не понимает характера сил, которыми движется история, не знает человеческого сердца. Человек, который принимает участие в политическом перевороте, воображая, что не будут при нем много раз нарушаться юридические принципы спокойных времен, должен быть назван идеалистом. Для руководителей нынешнего движения Центральной Италии только и существует это одно извинение в избавление им от прямой ответственности за смерть Анвити. Они могут сказать, что не предполагали неизбежности таких эпизодов в деле, за которое брались. Мы совершенно верим искренности этого извинения, но, снимая с них прямую юридическую ответственность, оно налагает на них тем более тяжелую вину перед историей. Человек бывает виновен перед историею, когда берется за дело, характера которого не понимает. Он виновен потому, что своими ошибками приносит слишком много вреда и делу, и всем, кого оно касается. Мы теперь говорим вообще о всех руководителях движения в Центральной Италии. Что касается, в частности, Фарини, пармского диктатора, то мы увидим, что он перед историею виновен меньше всех других правителей Центральной Италии. Если движение было ведено не так, как следовало идти ему, то не от Фарини, по крайней мере, происходил этот вред; напротив, он делал все, что мог, для избежания ошибок и своим влиянием успевал исправлять некоторые из них. Осудить его можно разве за то, что он согласился стать в положение, связывающее его зависимостью от людей, системы которых он не может одобрять. Но и за это порицать его трудно: диктатор самой маленькой части союза, он не мог принять более решительного тона, не мог требовать, чтобы Тоскана и Романья поставили свою политику в зависимость от политики Пармы и Модены; стало быть, довольно и того, что он успел убедить их сделать хоть что-нибудь.

К чему говорили мы все это? К тому ли, чтобы осуждать

итальянское движение, или к тому, чтобы защищать пармскую сцену 5 октября? Ни то, ни другое. Читатель давно должен был заметить, что мы вообще стараемся не брать на себя претензии хвалить и порицать, а стараемся только рассказывать факты и объяснять связь между ними: читатель — не ребенок, он может сам видеть, что хорошо и что дурно, какое дело заслуживает сочувствия, какое заслуживает вражды. По всей вероятности, читатель и без наших рассуждений знает, что убийство не есть дело хорошее. Очень может быть, что он также сам понимает, хорошо или дурно делает нация, стремясь избавиться от иноземного ига. Стало быть, можно нам положиться на его собственное чувство в выборе между итальянцами и австрийцами; мы почли бы обидою для читателя внушать ему, как ребенку, что дурное — дурно, а хорошее — хорошо. Мы имеем в виду совершенно иной вопрос и постараемся изложить его как можно яснее.

Зло и добро так тесно смешаны в мире, что нет доброго дела, в котором не было бы сторон дурных, нет дурного дела, в котором не было бы сторон хороших. Возьмем в пример хотя итальянское национальное движение. Положим, что оно представляется вам делом дурным; но нельзя вам не признаться, что одна сторона его, стремление нации к свержению иноземного ига, хороша. Положим, что оно представляется вам делом хорошим; но нельзя вам не признаться, что принадлежащий к нему эпизод убийства Анвита — дурен. Та же история во всем и всегда. Что ж тут остается делать? Надобно взвесить добро и зло, и если вам кажется, что в сущности дело хорошо, не смущайтесь тем, что есть в нем стороны дурные; если кажется, что в сущности дело дурно, не ободряйтесь тем, что в нем есть стороны хорошие. Колебаться из-за этих разногласий между разными сторонами нечего. Да или нет, как вам угодно, но во всяком случае будьте тверды. Надобно быть человеком, а не флюгером. Это — важная вещь, это, быть может, важнейшая вещь в истории. Ничем так не задерживаются успехи ее, как жалкою склонностью большинства людей говорить ныне «да», завтра — «нет», поддаваясь только минутным впечатлениям быстро сменяющихся фазисов дела.

Но само собою разумеется, что для этого надобно не скрывать от себя ни одной из сторон, неизбежно принадлежащих делу. Надобно знать, к чему по необходимости ведет оно, какие явления неизбежно вызовет. Надобно быть готову к ним, иначе придется играть недостойную человека роль флюгера. Положим, например, что вы жили в 1848 году в Германии и что вам надоели бесплодные смуты, и вы желали восстановления порядка, — вы должны были знать, что восстановление порядка повлечет за собою продолжительное господство реакции с политическими преследованиями. Вы должны были быть готовы без ропота, без разочарования видеть их, если хотели восстановления порядка.

Но чаще всего мы видим, что ныне кричат: «восстанавливается порядок, ах, как мы рады!», а завтра кричат: «владевает реакцией, ах, как нас это огорчает!» Это — ребячество. Если вы чувствуете, что будете недовольны владичеством реакции, не восхищайтесь восстановлением порядка; а если чувствуете невыносимыми для вас политические смуты, в таком случае не жалуйтесь и не играйте роли либералов, когда придет реакция. Все эти рассуждения сводятся, как видим, к известному выражению Чичикова: «полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит».

Большинство, увлекающееся минутными впечатлениями, обнаруживает этою непоследовательностью вредное влияние на ход дела обыкновенно уже тогда, когда дело очень сильно развилось; едва начинается оно приносит свои плоды, как расположение к нему в массе исчезает; оно лишается поддержки общественного мнения, переходящего на противоположную сторону, потому что в числе плодов какого бы то ни было дела всегда бывает довольно много горьких на вкус для того самого большинства, которому нравились цветки. Оттого самые успешные дела в истории остаются недоконченными. Возьмем ли мы историю реакций или историю революционных движений, мы одинаково увидим, что даже самые сильные из них редко достигали своей цели. Французская революция, например, не успела совершенно искоренить во Франции старого порядка вещей: он воскрес при Наполеоне и оказался очень сильным при реставрации; с другой стороны, и реакция, начавшаяся еще до Наполеона и почти непрерывно господствовавшая во Франции до сих пор, не сумела искоренить ни революционной тенденции, ни даже законов, ею произведенных в краткий период шести лет от 1789 до 1795: каждый раз, как только начинала она действовать успешно, большинство легкомысленно переходило на сторону революции, которую так же легкомысленно покидало, едва революция появлялась на горизонте. Мы опять не говорим, какое из двух стремлений надобно считать справедливым и полезным: стремление ли устроить порядок дел, сообразный с новыми потребностями общества, или стремление восстановить старину; мы говорим только, что какое из этих стремлений ни назовете вы хорошим, все-таки неуменье большинства понять неразлучность некоторых тяжелых испытаний или оскорбительных для чувств явлений с исполнением предпочитаемого вами дела, на стороне которого и большинство становилось по нескольку раз, было причиною того, что дело это оставалось недоконченным, и, следовательно, все равно, реакционер вы или прогрессист, вы должны быть недовольны этим легкомыслием большинства. Потому-то мы говорим: если человек имеет потребность распространять свои убеждения между другими людьми, то еще важнее забота вообще внушать людям, что они должны быть тверды в своих убеждениях, — пусть имеют какие хотят убеждения. О том, что

истина привлечет на свою сторону большинство, беспокоиться нечего: это неизбежно. Но должно позаботиться о том, чтобы люди приготовились, поняв истину, не отступить от нее легкомысленно из-за мелких неприятностей, от которых не свободно никакое дело.

Но если большинство бывает виновно в том, что исторические дела бросаются обыкновенно, не будучи доделаны как следует, то предводители большинства еще чаще бывают виновны в том, что дело подавляется в самом своем зародыше гораздо прежде, чем большинство успело бы охладеть к нему. Великие люди едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо; умеют не терять дней, пока обстоятельства благоприятствуют делу. Но известно, что не может ковать железа тот, кто боится потревожить сонных людей стуком. Только энергия может вести к успеху, хотя бы к половинному, если полного успеха почти никогда не дает история; а энергия состоит в том, чтобы, не колеблясь, принимать такие меры, какие нужны для успеха. И Суворов, и Наполеон, да и все великие полководцы, начиная с Александра Македонского, о котором так пылко говорил уездный учитель у Гоголя, известны тем, что не жалели жертв для одержания победы: их сражения были вообще страшно кровопролитны. Мы не хотим решать, хорошая ли вещь — военные победы; но решайтесь, прежде чем начнете войну, не жалеть людей; а если хотите жалеть их, то не следует вам и начинать войны. Что о войне, то же самое надобно сказать и о всех исторических делах: если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то и не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело. Нет ничего хуже, как если человек, принимающий на себя руководство делом, поддается самообольщению относительно средств, требуемых этим делом, и явлений, какие могут вызываться этими средствами. Хуже этого разве только то, когда он не понимает даже и качеств дела, за которое берется. Просим читателя помнить, что мы не говорим о том, хорошо или худо какое дело, а только о том, как должны действовать люди, считающие его хорошим. Например, Наполеон I поставил себе задачею подавить революцию во Франции. Хороша или дурна была его цель, мы не знаем; но он считал ее хорошею, и нельзя не признаться, что он действовал, как следовало ему действовать по натуре дела, за которое он взялся. В парламентских формах крылся тогда революционный дух, — он уничтожил эти формы; революционеры вздумали противиться ему, — он казнил или сослал в ссылку революционеров; правильный суд находил, что для их истребления нет юридических оснований, — он отстранил правильный суд и заменил его во всех нужных для дела случаях военно-судными комиссиями; во время мира разные либералы,

революционеры, роялисты мешали ему, разделяли с ним внимание нации, приобретали влияние над общественным мнением, — он решил, что Франция не должна иметь мира, и вел непрерывные войны.

Как не решаем мы, хорошо или дурно было дело, которое вел Наполеон, а говорим только, что он умел вести его совершенно его сущности, точно так же мы не говорим, хорошо или дурно дело, которое взялись вести правители Центральной Италии, а говорим только, что они не умеют вести его как следует, потому что не понимают его сущности и боятся тех мер, которых оно требует. Их дело — революционное, а они воображают придать ему характер законности; принцип, осуществления которого они хотят, — принцип верховной власти народа — смертельно враждебен принципу легитимности, а они хотят приобрести помощь континентальной дипломатии, которая держится договорного права и династического принципа; наконец, их цель есть цель народных стремлений, стало быть, должна достигаться энтузиазмом массы, а они хотят, чтобы масса не волновалась. Быть может, средства, требуемые этим делом, дурны, этого мы не знаем; но если они дурны, в таком случае не следовало бы и приниматься за дело. Кто не хочет средств, тот должен отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств. Кто не хочет волновать народ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей, тот не должен и брать на себя ведение дела, поддержкою которого может служить только одушевление массы.

Свойство фальшивых положений таково, что они вовсе не избавляют от тех бед, для избежания которых человек меняет открытое, прямое положение на фальшивое. Правители Центральной Италии не хотели свое революционное дело вести революционным путем для того, чтобы избежать революционных сцен. Смерть Анвита показала, что этих сцен итальянское движение все-таки не избегает. Но пора нам, бросив рассуждения, перейти к изложению этого факта. Подробнейший и, кажется, самый точный рассказ о нем написан итальянским корреспондентом Times'a. Кроме его письма, мы приведем еще письмо корреспондента Daily News, чтобы читатель смог, сличив их, видеть достоверность тех обстоятельств, от которых, по нашему мнению, зависит характер сцены, возбуждившей такое сильное негодование во всех газетах.

Вот письмо корреспондента Times'a:

«Парма, 9 октября.

«Я приехал в Парму вчера вечером и нашел город еще погруженным в глубочайшее отчаяние от одного из тех диких дел народного мщения, которые предусматривались и предсказывались проницательными людьми, но от которых по чрезвычайному счастью был до сих пор избавлен этот город, избавлена и вся Центральная Италия.

«Передаю вам подробности вполне, потому что руководящие люди в Италии вообще полагают, будто действуют сообразно с благом своей страны, стараясь показаться иностранным державам лучшими, нежели каковы они на самом деле; а я твердо убежден, что никогда никакое дело не выигрывает от скрывания истины. Многие факты основаны тут на одних народных слухах; но я был чрезвычайно заботлив и строг в своих розысканиях, потому надеюсь, что я не прибавляю и не убавляю, а рассказываю этот случай просто, как он произошел.

«Луиджи Анвити был родом из Пиаченцы и принадлежал к фамилии, имевшей некоторые претензии на знатность и носившей графский титул. Он и его брат, уже умерший, много лет жили в Парме, как *scrocchi* и *balossi* по ремеслу, т. е. как плуты и воры, мошенники и надуватели. Луиджи, бывший младшим братом, вступил в военную службу и в 1848 году был капитаном; тогда, по его известной дурной репутации, ему не позволили вступить ни в число волонтеров, ни в отряд регулярных войск, пославшихся Пармою для участия в национальной войне. При восстановлении герцога Карла III этот безумный правитель, выбиравший самых худших людей, каких только можно было найти для организации своей нелепо большой армии, быстро возвысил Анвити до чина полковника. Анвити, исполненный зложелательства и либеральной партии, которая справедливо отвергла его, стал одним из главных орудий сумасшедших и жестоких подвигов герцога, особенно в исполнении телесных наказаний за политические преступления, составивших источник самого сильного неудовольствия пармезанцев против герцога и стоивших, наконец, герцогу жизни, которой он лишился 25 марта 1854. При регентстве герцогини Луизы Анвити прославился участием во всех жестоких мерах, принятых против предполагаемого убийцы герцога, и был одним из главных виновников той систематической резни 22 июля 1854, которую никогда не могли простить пармезанские простолюдины. 13 апреля 1855 г. Анвити, предмет всеобщих проклятий, подвергся выстрелу из пистолета у дверей своего дома, когда возвращался домой в сумерки. Пуля не попала в него, он остался невредим, и общая молва была, что это мнимое покушение на его жизнь было его собственным делом, придуманным для произведения новых свирепостей. Действительно, он обвинил в покушении на убийство отставного рядового солдата Карини, предал его военному суду, судил, приговорил к смерти и расстрелял, хотя говорят, что несчастный положительнейшим образом доказал, что во время выстрела находился в совершенно другом месте. Кроме того, Анвити арестовал бедного цирюльника Марио Феррари единственно за то, что он свидетельствовал в пользу Карини, и цирюльник был найден повешенным в своей тюрьме; тело его висело, говорят, в таком положении, которое никак не допускало мысли, что он удавился сам.

«Ненависть всего населения к Анвити стала так сильна, что даже правительство почло нужным удалить его из Пармы и послать сначала в Понтремоли, потом в Пиаченцу, где его карьера была также ознаменована гнусными свирепостями. При падении правительства герцогини в мае нынешнего года Анвити исчез, и с тех пор о нем не было слышно.

«Я считал нужным предварительно сообщить эти факты, чтобы читатель мог иметь ясные понятия о характере этого человека и о свойствах правительства, при котором такие чудовища пользовались властью.

«В пятницу, 5-го числа, Анвити, переодетый поселянином, ехал по железной дороге из Болоньи в Пиаченцу. У него был паспорт от папского правительства, и невозможно сомневаться в том, что он ехал по каким-нибудь тайным сношениям между папскими войсками и войсками герцогов modenского и пармского, собравшимися теперь в Мантуе. Паспорта от нынешних правительств у него не было, зато была медаль, служившая, как предполагают, доверительным знаком для него в разных лагерях и доказательством, что он действительно тот, кого ждали. Прибавляют — но я не удостоверился в этом положительным образом, — что в его саке было 15.000 франков банковыми билетами. Подле моста через Энцу, в пяти милях от Пармы, Анвити был узнан пармезанским волонтером, по ремеслу седельником, Камощи, ко-

торый, говорят, получал от него обиды и однажды был арестован просто по той причине, что не нравился полковнику. Этот человек подошел к нему и назвал его по имени, но, получив резкий и надменный ответ, замолчал и молчал, пока поезд (не) прибыл на Пармскую станцию, в 5 часов вечера. Тут он сказал об Анвита нескольким своим приятелям-волонтерам. Они его арестовали и отвели в казарму жандармов (карабинеров) близ porta San Barnaba, в нескольких шагах от городских ворот и станции. Едва только поместили они Анвита в караульную комнату, как престономарды, между которым слух об его аресте распространился с быстротой молнии, собралось перед главной дверью казармы, требуя смерти ненавистного экс-полковника. В Центральной Италии, как я вам говорил, почти нет вооруженных сил, и в казармах было всего только 6 или 7 карабинеров. Они поспешно затворили, заперли и загородили заднюю главную дверь, а из окон старались успокоить толпу, убеждая, что преступник не ускользнет из их рук и что судить его надобно законным порядком. Толпа отвечала, что в последние три месяца она часто отдавала подобных преступников в руки законных властей и что они все были выпускаемы на свободу; но что теперь она захватила злейшего атамана всей шайки и не хочет, чтобы опять его скрыли от справедливого мщения. Пока предводители вели эти переговоры, толпа раздраженных простолоудинов, и в том числе несколько женщин из самого низкого разряда черни, нашла вход в казарму через маленькую боковую дверь, которая по неосторожности была оставлена незапертой. Она ворвалась в караульную комнату и нашла там Анвита, который малодушно залез под одну из лавок, служащих постелями для жандармов, отправляющих караул. Его вытащили оттуда, не обращая внимания на его крики и мольбы; вывели его из казармы, и тут, на улице, началось демонское мучение, которое продолжалось и над его трупом. Его протащили по всей улице San Barnaba, потом через Дворцовую площадь (Piazza del Corté), мимо герцогского дворца, где стоял караул из нескольких национальных гвардейцев, потом через Quattro mal cantoni и Bassa dei Magnani, через Piazza grande (главную площадь), где стоял другой караул национальной гвардии, и остановились только у швейцарской кофейной в улице San Michele, по которой в это время гуляло, по обыкновению, множество порядочно одетых людей. Тут, велев подать лимонаду своей почти безжизненной жертве и насытив свою ненависть самым жестоким образом, они, наконец, повалили Анвита на одну из мраморных ступеней и отрубили голову ему саблею. Тело, как мне говорили, еще затрепетало под этим ударом. Прибавляют, и, кажется, справедливо, что один из каннибалов отрубил пальцы рук у трупа и сосал кровь, которая потекла из перерезанных жил; что несколько уличных мальчишек плясали над обезглавленным трупом. Толпа вышла из кофейной и ходила почти по всем улицам и частям города. Некоторые несли голову, воткнутую на саблю, другие тащили труп по пыли; наконец, ворвались на главную площадь после этой безумной оргии, продолжавшейся два часа, и, остановившись перед Colonna della Piazza — колонною без капителя, служащую и памятником, и центральной столбом, от которого считаются мили, положили голову на вершину колонны и, заставив оркестр слепых скрипачей играть, начали плясать карманьола вокруг ужасного трофея.

«Было 9 часов. Толпа, насытившаяся кровавою сценою, утомленная криком и бешенством, начала расходиться, хотя поклялась, что голова останется выставлена на колонне три дня. Несколько рот пьемонтских солдат, еще стоявших в городе, отважились войти в толпу и разогнали ее. Голова и страшно искаженный труп были отнесены в городской госпиталь и оттуда тайком перенесены для христианского погребения. При осмотре изувеченного тела нашлось на одном туловище 23 раны от острых орудий и одна рана пулею.

«Событие, рассказанное мною со всею возможною для меня точностью в обстоятельности, конечно, ужасно; но точно того же можно бы ожидать от дурных классов черни в каком угодно городе какой угодно другой страны. Гораздо печальнее этого неистовства кажется мне то, как держали себя хо-

рошие классы жителей и правительство до кровавого дела и после него. Я слышал только об одном хорошо одетом человеке, который пытался вступить за Анвити у швейцарской кофейной и убеждал толпу, что теперь, когда Анвити уже мертв, они должны, по крайней мере, не подвергать трупа напрасному поруганию. Но он должен был замолчать, потому что грозили «расправиться» с ним таким же образом. В убеждениях и робких упреках недостатка не было, но я не слышал, чтобы карабинеры в казармах или караулы национальных гвардейцев на двух площадях, или какой-нибудь солдат или гражданин нанес или получил удар, защищая — не говорю, злодея. — но закон. Толпа целых три часа владычествовала в городе; она могла бы господствовать и три дня, если бы захотела, потому что, как я говорил, в последние месяцы вооруженной политической силы почти не было и нет в Центральной Италии».

Вот рассказ корреспондента Daily News:

«Парма, 6 октября.

«Полковник граф Анвити имел 48 лет от роду, происходил из Пиаченцы и был потомком древней фамилии. В очень молодых годах он вступил в армию Марии-Луизы и скоро стал известен пармскому народу своею ненавистью к либеральной партии в герцогстве. При восстановлении Карла III полковник Анвити стал близким другом его и исполнителем тех дел, которые были причиною смерти молодого герцога. Жестокость полковника была так велика, жертвы его зверства были так многочисленны, что при смерти герцога он был уже предметом всеобщих проклятий. Почти каждый день наказывались палками люди по его распоряжению; старики посылались в тюрьму без суда и следствия единственно под тем предлогом, что они либералы. Не раз он выбегал, как бешеный, из кофейной и тащил какого-нибудь горожанина в циркульню, чтобы там обрить ему бороду, потому что борода, по его мнению, была признаком революционных замыслов. Его неистовства были так многочисленны, что в 1855 году был сделан по нем выстрел из пистолета, когда он переходил через улицу Santa Lucia. Предполагаемые виновники этого покушения были осуждены, и один из них, Андреа Карини, был расстрелян, несмотря на ходатайство о помиловании, представленное герцогине председателем военной комиссии, которая судила его. Я имел случай рассматривать документы этого постыдного процесса и вынес из разбора их убеждение, что не было и тени юридического доказательства в оправдание казни Карини. Из предполагаемых соучастников этого несчастного молодого человека один, Франческо Паницца, был осужден на заключение в тюрьму на всю жизнь, а другой, Иззола Джузеппе, на двадцать лет такого же наказания. Выстрел был сделан против циркульной, которую содержал некто Марио Феррари. При самом начале следствия показание этого человека служило доказательством невинности Карини и других обвиненных с ним; потому несчастный Феррари был брошен в тюрьму, и через два дня нашли его повешенным на решетке тюремного окна. Общее мнение говорило, что полковник Анвити тайно велел задушить циркульника, чтобы сбыть с рук единственного свидетеля, который мог спасти предполагаемого преступника. Карини был отцом многочисленного семейства и имел двух братьев, которые по ремеслу своему — мясники. Я не без намерения делаю это замечание, потому что, по слухам, родственники Карини играли главную роль в кровавой сцене вчерашнего дня. По отъезде герцогини пармское правительство получило юридическое доказательство невинности Карини, потому что человек, который выстрелил в полковника, сознался в своей вине.

«При самом начале национального движения Анвити бежал в Церковную область. Но вот у него родилось намерение возвратиться в свой родной город, чтобы составить заговор против нового правительства. Вчера он выехал из Болоньи с поездом железной дороги, отправляющимся в час пополудни. Он оделся в платье фермера. Поездка шла удачно до той самой минуты,

когда поезд прибыл к речке Энде, перед которой вагоны теперь принуждены останавливаться, потому что мост сломан; пассажиров перевозят на другой берег в омнибусах. Как только полковник Анвити сел в один из этих омнибусов, он, хотя и был переодет, был узнан человеком, которого прежде наказали палками. Потому, когда поезд пришел на Пармскую станцию, несчастному полковнику не дали продолжать его пути в Пиаченцу. Человек, узнавший его, вытащил его из кареты и повел в город среди проклятий толпы. Ярость народа была так велика, что несколько национальных гвардейцев, случайно бывших на станции, только с величайшим трудом могли удержать это раздражение. Когда толпа дошла до городских ворот, с нею встретился полковник Дода, который, узнавши в чем дело, поехал подле арестованного, чтобы защищать его. Поблизости попалась карабинерская казарма, у которой стояли часовые; Анвити был передан под стражу им, и толпа разошлась. Но известие о том, что схвачен Анвити, дошло до дома, в котором жена, братья и дети Карини еще скорбели о казни своего невинного родственника. Имя графа быстро пробудило чувство мщения, и в несколько минут собралась у карабинерской казармы толпа, жаждавшая крови. При первом приливе народной волны карабинеры (их было всего шесть человек) заперли дверь казармы, но дверь была выломлена толпою, которая ворвалась в дом и стала обыскивать комнаты. «Он не уйдет от нас, — слышалось со всех сторон, — правительство теперь не обманет народ; ему не удастся спасти Анвити, как спасло оно других злодеев» (надобно сказать, что в сентябре месяце два агента герцогского правительства были счастливо спасены от народного гнева). Обыскали первый, второй, третий этаж казармы, обыскали чердак — Анвити нигде не было. Раздраженная толпа обращала уже свою ярость против карабинеров, когда страшный крик послышался из подвального этажа. Один из искавших нашел несчастного пленника, и Анвити погиб. Тело его потащили по улице Св. Барнабы; голова трупа была отрезана и положена на верх мраморного памятника, доставленного Бурбонами в память Иосифа I. Вся эта сцена продолжалась не более четверти часа, не более того времени, сколько нужно было для присылки вооруженной силы. Барабаны национальной гвардии собрали вооружившихся граждан, регулярные войска поспешили присоединиться к ним, и в половине седьмого толпа была рассеяна, отрезанная голова снята с памятника и труп жертвы отнесен в дом, где ставятся покойники перед похоронами. Пармское правительство сделало все, что зависело от человеческой предусмотрительности, для предотвращения этого великого преступления, но оно совершилось так быстро, что нельзя было предотвратить его. Прибыв сюда вечером, я нашел Парму в ужасе от воспоминания о кровавой сцене, осквернившей ее улицы. Было уже сделано много арестов, но говорят, что истинные виновники преступления уже скрылись из города».

Вот еще небольшой отрывок из письма, напечатанного в *Siècle*:

«Полковник Анвити, хотя и носил графский титул, был человек без всякого образования. Будучи главнокомандующим маленькой пармской армии и генерал-директором полиции, он имел безграничную власть, которою пользовался для совершения всевозможных жестокостей. Он находил удовольствие в том, чтобы присутствовать при наказаниях и оскорблять свои жертвы в ту минуту, когда палач бил их. По очень сильным уликам его обвиняют в том, что он повесил в тюрьме несколько человек без всякого суда над ними».

Вот еще несколько строк из *Opinione*:

«Анвити на Пармской станции был узнан человеком, который, как говорят, был подвергнут телесному наказанию; присутствуя при наказании, пол-

ковник ругался над ним во все продолжение наказания». — «Кофейная, в которую народ притащил полумертвого Анвита из казармы, была та самая, где в прежние времена любил он сидеть, хвалясь телесными наказаниями и другими жестокостями, которые делал». — «При восстановлении порядка несколько человек из толпы было ранено. Тот, который держал отрезанную голову, не отдавал ее, пока сам [не] получил семь ран. Его ярость объясняется тем, что он подвергался телесному наказанию в присутствии Анвита, который всегда присутствовал при телесных наказаниях и при каждом ударе ругался над своими жертвами, приговаривая: «Вот тебе за viva l'Italia, вот тебе за слова: прочь австрийцев!» и т. д.».

Не останавливаясь на нравственных качествах Анвита, мы соберем из этих рассказов только те черты, которые прямо относятся к сцене 5 октября. Но прежде всего сделаем несколько замечаний.

Телесное наказание в Италии имеет значение, какого не имеет даже во Франции. Итальянец даже самого низкого звания чувствует обиду от удара точно так же, как в других странах человек светского общества. Он считает, что удар на всю жизнь обесчестил его и что эта обида может быть омыта только кровью оскорбителя, как у нас удар по щеке. Надобно также вспомнить, что прежняя беспредельная уверенность жителей Пармы, Модены и проч. в легкости присоединения к Пьемонту в последнее время сменилась столь же беспокойными опасениями: они видят опасности со всех сторон, повсюду подозревают злоумышления и заговоры. Вспомним также вспыльчивость итальянского характера и то, что носить при себе кинжал — между итальянцами не такая редкость, как у других европейцев.

На Пармской станции Анвита попал в толпу людей, родственников которых он без суда казнил и которых самих он подвергал телесному наказанию, ругаясь притом над ними. Действительно, узнан был он одним из таких людей; главную роль в толпе, поразившей его кинжалами, играли братья Карини, мясники, ремесло которых не располагает к кротости, брат которых был казнен Анвита и один из которых также подвергался от него телесному наказанию; его голова был тоже в руках человека, которого подвергал он телесному наказанию. Главным местом действия была кофейная, известная тем, что он хвалился в ней телесными наказаниями, которые производил. Толпа думала, что он приехал в Парму устраивать заговор для восстановления правительства, при котором пользовался безотчетною властью. Толпа думала, что если она выпустит его из рук, передав на суд правительства, правительство тайно освободит его, как освобождало других подобных ему агентов прежнего правительства. Кинжалы были под руками, — все, что происходило далее, было неизбежным последствием опьянения, в которое впадает каждое многочисленное общество, раз увлекшись страстью.

Но само собою разумеется, что пармское правительство должно

было смотреть на самоуправную казнь Анвити как на преступление. Немедленно приняты были меры для отыскания участников этой сцены. Корреспондент Daily News, приехавший в Парму на другой день после нее, нашел уже многих людей арестованными. Однако же Фарини, который, к несчастью, был 5 октября в Модене и присутствие которого, вероятно, значительно смягчило бы кровавую сцену, возвратившись в Парму, нашел нужным придать еще больше строгости преследованию, отрешил от должности многих чиновников, чтобы заместить их более энергическими, и издал прокламацию, написанную с пламенным гневом. Он говорил жителям Пармы: «Ваш город осквернен ужасным преступлением. Наша добрая слава поражена, свобода профанирована, Италия оскорблена» и т. д. Мы не уверены в том, что Фарини говорил это по собственному убеждению, а не для того только, чтобы удовлетворить консервативные силы на континенте Европы. По всей вероятности, ему казалось, что смерть Анвити — просто несчастный случай, слишком достаточно объясняемый прежними отношениями убитого к людям, бросившимся на него, и что все последующие подробности бешенства, выразившегося на его трупе, как ни возмутительны сами по себе, происходили не от преднамеренной свирепости, а только от натурального опьянения разгоревшейся страсти, в которой, конечно, раскаивались через несколько часов люди, поддавшиеся внезапному порыву ее. Мы полагаем, что, говоря о характере этого случая иначе, он только уступал необходимости отнять у врагов Италии предлог к обвинению временных итальянских правительств в покровительстве революционным сценам или бессилии наказывать их. Впрочем, очень может быть, что мы и ошибаемся. Смерть Анвити могла действительно поразить Фарини, подобно другим либералам воображавшего, что политические перевороты могут совершаться без всяких случаев нарушения уличной тишины; продолжительное поругание толпы над телом убитого могло возмутить пармского диктатора, по обыкновению либералов идеалистически державшего в голове две равно мечтательные мысли, противоречащие одна другой: народ — свирепый зверь, которого нельзя выпускать из клетки; народ способен к невозмутимой кротости и неотступному соблюдению всех прекрасных форм. Люди, подобные правителям Центральной Италии, никак не могут дойти до понятия, что народ — просто собрание таких же людей, как и всякие другие люди, то есть людей, способных под влиянием страсти увлекаться до крайности и в хорошую, и в дурную сторону, — людей, в жизни которых неизбежны и натуральные случаи поочередных увлечений в обе эти крайности. Никак это не понимая, они сами беспрестанно приходят в экстаз, — то в экстаз восторга, когда народ сделает что-нибудь энергическое в хорошем смысле — таково было состояние духа правителей Центральной Италии до 5 октября, чрезвычайно удивлявшихся

патриотизму народа, — то в экстаз негодования, если народ увлечется каким-нибудь неблагоприятным порывом, как 5 октября в Парме: они не умели предвидеть ни того, ни другого, не предполагали в народе той смеси хорошего с дурным, из которой составляется жизнь каждого человека. Подумав хорошенько, мы убеждаемся, что Фарини не мог взглянуть на дело хладнокровно: он был изумлен, поражен, потому действительно должен был вознегодовать.

Впрочем, все равно, показывает ли Фарини только вид, что не понимает сущности дела, или в самом деле чувствует негодование и ужас. Как напрасны оказались мечтательные усилия временных правительств Центральной Италии предотвратить появление всяких революционных сцен в революционном деле, точно так же напрасны останутся и все их усилия освободиться от упрека со стороны консерваторов за смерть Анвити. Что бы ни говорил и ни делал Фарини, консерваторы все-таки будут утверждать, что нынешнее пармское правительство потворствовало страстям, убившим Анвити; что, по крайней мере, его существование благоприятствовало развитию этих страстей; что революционное движение неизбежно ведет к подобным происшествиям. Что бы ни делали временные правительства Центральной Италии, они останутся революционными и анархичными в глазах консерваторов. Сказать ли правду? В сущности мнение консерваторов будет основательно.

Мы останавливались так долго на пармской сцене 5 октября только потому, что она уже служит для врагов итальянского единства поводом сильнее прежнего выставить революционный характер этого движения и несовместимость его с консервативными принципами, которым следуют континентальные правительства Западной Европы. Толпа так называемых порядочных людей, голос которой составляет общественное мнение и которая всегда следует минутным впечатлениям и поверхностным выводам, неминуемо поддастся влиянию этого факта и других ему подобных революционных сцен, которые не замедлят последовать за ним, как только центральные области Италии увидят себя в действительной опасности от заговоров и вмешательств для восстановления прежнего порядка вещей. Прежде толпа вслед за либералами твердила об удивительных качествах итальянского движения, столь умеренного и не имеющего будто бы никаких наклонностей к отвратительному революционерству. Скоро она будет повторять вслед за консерваторами, что итальянское дело запятнано кровью Анвити и другими революционными сценами, которых надобно ждать, лишь только вопрос примет серьезный оборот. Впрочем, и сами либералы, как мы говорили, с негодованием рассуждают о гнусности убийства, совершенного кровожадными извергами в Парме. Нам кажется, что без такого отношения

к общественному мнению весь этот случай был бы совершенно ничтожен. Перестанем же, наконец, заниматься им.

И теперь, при рассуждениях о нем, а еще более в прежних наших обзорах, мы очень много говорили о том, что правительства Центральной Италии не понимают своего положения и не умеют действовать сообразно с своими целями. Действительно, несколько месяцев потеряли они совершенно понапрасну. Читатель помнит, что мы не говорим о том, хороша или дурна цель, к которой они хотят привести Италию. Мы не хотим ни доказывать справедливости их дела, подобно либералам, ни говорить о его святотатственности, подобно консерваторам. С одной стороны мы видим, и каждый читатель видит сам, династические права, освященные трактатами и всеми правительственными преданиями континентальной Европы. С другой стороны находится, как тоже знает каждый читатель, стремление итальянского народа к единству для достижения независимости от иностранцев. На которой стороне должно быть сочувствие читателя, он сам должен знать и без нас. Мы говорим только о том, что, каково бы ни было дело Центральной Италии, хорошо или дурно, временные правительства не умели вести его тем способом, какого оно требовало. Но должно сказать в их извинение, что тому же самому упреку подлежит и сардинское правительство, которое, будучи более твердым и сильным, должно было бы выказывать больше энергии и ободрять своих слабых союзников. Когда Кавур управлял Сардиниею и был предметом всеобщих похвал, мы не разделяли господствовавшего мнения о мудрости его политики. Мы говорили еще до начала войны, что он запутывает Сардинию в такие отношения, при которых она утратит свою самостоятельность, и что, несмотря на всю свою дипломатическую тонкость, сардинский министр вовлечет в обман, подвергнет горькому разочарованию и себя, и сардинский народ. Теперь, когда граф Кавур, видя себя обманутым, видя Пьемонт попавшим под зависимость от Франции, удалился от дел, приходится жалеть о том, что не он управляет делами государства, которое введено в такое затруднение его же собственною непроницательностью. Положение дел в Сардинии таково, что власть перешла к людям, в сравнении с которыми граф Кавур заслуживал бы полного сочувствия. Он хотя что-нибудь делал бы; у него, по крайней мере, есть энергия и смелость. Нынешний первый министр, генерал де Ла-Мармора, бывший при Кавуре военным министром, оказывается человеком, лишенным и этих качеств, которые теперь были бы нужнее всего. Центральная Италия требует помощи и руководства от Пьемонта, а Пьемонт обнаруживает полнейшее бессилие и самую жалкую робость. Мы любим пользоваться чужими свидетельствами при изложении фактов, из которых делаем выводы; потому просто переведем два письма итальянского корреспондента Times'a, написанные из Турина.

«Турин, 28 сентября.

«Пьемонт смело выступил бойцом за единство и независимость Италии; два раза в десять лет он рисковал самым существованием своим для осуществления этой цели. Честолюбие или патриотизм были причиною такой политики, все равно, результат ее был ясен. Маленькое королевство стало во главе итальянского движения, и все земли, где говорят на итальянском языке, признавали Сардинию своею предводительницею в национальном деле. К изумлению скептических дипломатов, казался исчезнувшим дух узкого провинциализма, на котором было построено столько гипотез. Ни одна область не хотела отстать от других, и каждая из освобождавшихся от угнетения итальянских земель, как только становилась госпожею своей судьбы, спешила соединить свою участь с участью земли и династии, которые отважились сделать первый и опаснейший шаг.

«Почетным положением для маленького государства была такая диктатура, такое супрематство. Но это супрематство имело свои опасности. Если б императорская программа даже вполне осуществилась, если б Италия освободилась от Альп до Адриатики и царственный благодетель с беспримерным бескорыстием удалился со своими легионами за Альпы, все-таки было бы геркулесовским подвигом соединить и организовать земли, до сих пор бывшие разрозненными, сохранить на будущее время итальянскую силу то, что было приобретено силою иноземцев. Еще гораздо труднее, но зато и еще гораздо славнее, сделалась эта задача после Виллафранкского мира. Он дал итальянцам только возможность испытать шансы войны, если они действительно имели решимость на попытку своими силами сделать то, чего нерассудительно ждали от других. Их руки были развязаны, и сам император во второй своей миланской прокламации сказал им, что остальное должны они сделать сами.

«Два месяца прошло с той поры, — два месяца драгоценного времени, и как же воспользовались этими двумя месяцами? Цюрихская конференция влачила в это время свое бесполезное существование, как будто вызывая Италию действовать и приготовиться к делу. Теперь была для Пьемонта минута показать себя предводителем итальянцев; национальная партия обращала свои взоры на Турин.

«А Турин спит или как будто находится в сомнамбулизме; он неподвижен или повинуетя жестам великого магнетизера. Как будто всякая деятельность и решимость покинула правительство вместе с Кавуром. Прочтите ответы, данные депутатами Тосканы, герцогств и Романьи, и вы угадаете все по этим ответам. Во всем та же апатия и нерешимость, та же робость и малодушие. Разумеется, каждому понятна щекотливость положения, в какое Сардиния поставила себя относительно своего могущественного союзника, которому она столь многим обязана, которого не может она раздражать без величайшей опасности для себя. Но именно в подобных положениях смелость неизменно бывает лучшею политикою: она укрепляет доверие друзей и внушает страх врагам, а противоположная система ободряет врагов и отнимает мужество у друзей. Но смелость этого рода требует решимости поддерживать делами и жертвами то, что сказано словами. При энтузиазме, какой показало население Верхней Италии, Сардиния могла бы в эти два месяца составить армию, по крайней мере, в 150.000 человек. Она тут не встретила бы недостатка ни в деньгах, ни в людях; и если бы теперь она объявила, что согласна на присоединение государств Центральной Италии, чем она рисковала бы? Даже и такой могущественный человек, как император Наполеон, не отважился бы настолько презреть общественное мнение Европы, чтобы обратить свои легионы против своей союзницы. Все, что могло бы случиться, — разве только то, что он отозвал бы их и оставил бы на волю судьбы итальянцев, которые теперь плотнее соединены и сильнее, чем когда-нибудь.

«Но положим, что Сардиния и Центральная Италия не имеют достаточной самоуверенности, чтобы быть отважными в своей политике; самое простое благоразумие должно было бы советовать им не щадить никаких уси-

лий для развития своих военных сил, чтобы иметь в будущем возможность воспользоваться первым представляющимся благоприятным случаем, и непостижимая апатия в этом отношении более всего подняла во всей Центральной Италии ропот против нынешнего сардинского министерства и особенно против главы его, генерала де Ла-Марморе. Неудовольствие владычествует во всех и в каждом; каждый, с кем бы вы ни заговорили, жалуется, и газеты повторяют жалобу.

«С тем здравым смыслом, который руководит в критические времена мыслями массы, как инстинкт руководит животную натуру, все вопросы внутренней политики здесь отброшены; никто не думает о палатах и парламентских прениях, никто не заботится о медленности, какая видна в окончательной организации Ломбардии; каждый чувствует, что есть нечто более важное для общей цели, для единства и независимости Италии, что важнейшее дело — организация военных сил. Даже не принимая присоединения земель Центральной Италии, Сардиния должна была употребить все усилия для их военного устройства; этого ожидали все. Ваш тосканский корреспондент рассказав вам, каковы успехи этого дела, и мне нечего прибавить к его словам, кроме того, что я должен передать вам всеобщее впечатление, приписывающее истинную причину жалкого положения военных сил Центральной Италии — апатии, чтобы не сказать нерасположению, пьемонтского правительства. Все земли на юг от По ждали от сардинского правительства руководства в этом деле; руководить ими было бы не только легко, это было бы обязанностью Пьемонта, по всеобщему убеждению. Само правительство почти признало это, послав в Центральную Италию генерала Фанти. Но если бы кто стал приводить политические соображения и опасения по делу военной организации земель Центральной Италии, то, конечно, уже нет никаких извинений относительно Ломбардии. Три месяца прошло с той поры, как Ломбардия освободилась от Тичино до Минчио, и ни один солдат не прибавлен к национальным силам. Единственная вещь, которую сделали, состояла в том, что пять полков ломбардских волонтеров, которых набрал Гарибальди, уменьшили в два полка и послали двух пьемонтских офицеров командовать ими. Даже те 10.500 ломбардских солдат, которых возвратила Австрия, были разосланы по домам *. Не делая никакого прибавления к войску из новой провинции, министерство значительно уменьшило даже существовавшую сардинскую армию, отпустив резервы, созданные во время войны: так что теперь, по присоединении Ломбардии и при готовности герцогств Тосканы и Романьи помогать общему делу, Сардиния едва ли может выставить в поле две трети того числа войск, какое имела при начале последней войны. А между тем, заметьте, Австрия имеет 250.000 войска в Венецианской области, и столь многие вопросы еще не разрешены. Каким образом это произошло, объяснить не трудно. Короля никто не осуждает; он популярен попрежнему, если не больше прежнего, и между прежними, и между новыми своими подданными; но очень многие имели случай изучить странные понятия первого министра, которыми объясняется все. Представьте себе дармштадтского или гессен-кассельского министра, сделавшегося первым министром достигшей единства Германии: по всей вероятности, он захочет всю Германию обратить в Дармштадт или Гессен-Кассель.

«Еще во время войны храбрый генеал и его партия, которая, впрочем, очень малочисленна даже в армии, делали всевозможные затруднения устройству национальных сил. «Будьте пьемонтцами, или нам вас не нужно», — таков был их девиз, и, благодаря этому девизу военного министра, Гарибальди вступил в Ломбардию с солдатами, у которых не было ни обуви, ни платья. К счастью, ломбардские города думали иначе и снабдили храбрый отряд всем нужным. Пока был министром Кавур, он всячески старался противодействовать этой узкой и нелепой политике, но не мог совершенно преодолеть ее, и потому вместо 20 или 30.000 человек у Гарибальди даже в

* Австрия возвратила в Ломбардию тех солдат своей армии, которые были родом из этой области.

лучшие времена не было больше 5.000. Теперь Кавур живет в деревне, а де Ла-Мармора — первый министр. Боязнь, чтобы пьемонтская армия не обратилась в национальную армию, заставила потерять два с половиною месяца, заставила уничтожить легион Гарибальди, заставила отстранить самого Гарибальди, призываемого общественным мнением Италии организовать войска Центральной Италии; эта же боязнь замедляет военную организацию Ломбардии. Дело дошло до того, что королю представлена из Милана просьба, требующая поспешить устройством ломбардских военных сил».

«Турин, 30 сентября.

«Если бы местные политические новости должны были составлять предмет моих писем, я мог бы посылать вам белые листы, потому что такого продукта, как местные политические новости, здесь в настоящее время не находится. По делу о решении итальянского вопроса можно сообщить много известий из Парижа или Вены, можно довольно много известий сообщить из Тосканы и всякой другой средней и южной итальянской области, не исключая даже маленьких герцогств Пармского и Моденского; но ровно ничего сообщить об этом из столицы народа, который выступил передовым бойцом итальянской независимости. Это может казаться странным, но это так. В самую критическую эпоху борьбы Пьемонт совершенно исчез или, лучше сказать, принудил себя исчезнуть со сцены. Все играют роль в этом деле: император Наполеон, от которого ждут решения; император австрийский, делающий предложение за предложением; нейтральные державы, предлагающие советы; папское правительство, приготовляющееся занять Романью при первом удобном случае; даже маленькие герцогства, отважившиеся выразить желание и, по мере своих сил, делающие все для его исполнения. Один Пьемонт, боец итальянской независимости, не только не принял твердого и достойного положения, но даже не осмеливается сделать и того, чего не поколебались сделать маленькие герцогства, — не осмеливается выразить ни мнения, ни желания; он только осмеливается представлять все решению других. Золотое яблоко, предмет его давних желаний, само дается ему в руки, а он надеется своим смирением и умеренностью тронуть сердца императоров. Иначе нельзя объяснить этой непростительной апатии, этой робости, этого совершенного подчинения чужому решению.

«Все это было бы чрезвычайно похвально, если бы Сардиния хотела получить не первенство в Италии, а Монтионорскую премию в Париже. Но при нынешних обстоятельствах каково должно быть впечатление, производимое такою политикою на умы остальных итальянцев, привыкших надеяться на Сардинию? Это значит покидать их в кризисе, который был вызван в значительной степени самою Сардиниею. Это значит ронять Сардинию во мнении итальянцев и ободрять все силы, враждебные итальянской национальной идее. Надобно помнить, что единодушие, с которым Верхняя и Средняя Италия захотела примкнуть к Сардинии, происходило не от страстной любви к самой Сардинии или к ее учреждениям, но от восторженного желания сделаться непременно пьемонтцами; оно основывалось на мысли, что Пьемонт будет служить центром, вокруг которого мог бы соединиться народ, говорящий итальянским языком и имеющий итальянские тенденции. Постоянным аргументом людей, противившихся соединению Италии, было то, что Пьемонт едва может считаться итальянским государством и во многих отношениях отстал от других итальянских земель, и что потому присоединение к Сардинии было бы для Италии скорее потерей, чем выигрышем. Да и народы Северной Италии не имели иллюзий относительно Пьемонта. Но стремление к национальному единству было так горячо, что для него все другое забывалось. Теперь найдутся люди, которые по тем или другим причинам напоят итальянцам, что такое Пьемонт

«Чувство масс всегда склонно переходить от одной крайности к другой, и переход совершается у него быстро. Отречение от местных и провинциальных преданий, стремление к соединению со всеми возможными жертво-

ваниями было так внезапно и пылко, что необходимо должна последовать за ним реакция, если оно не будет поддержано до самой поры своего осуществления. Сардиния, становясь во главе движения, принимала на себя обязанность поддерживать его. Пока продолжалась война, это было легко; каждая победа над австрийцами служила новым ободрением желаний остальной Италии, каждый дюйм итальянской земли, отнимаемой у австрийцев, служил для Сардинии новым правом на супрематство. Пока слышался гром пушек, он заглушал все другие звуки. Все мелкие сардинские недостатки искупались им. Задача единства исполнялась, как все думали, самым действительным способом. Французские и сардинские войска освобождали Италию, потому могла быть терпима отсрочка в составлении национальной армии. Необходимость политической и административной организации не чувствовалась, пока действовали другие и Италия не призывалась сама исполнять свое дело.

«Теперь все это переменялось. Итальянские патриоты призваны исполнить обещание, которое произносили так часто: *L'Italia farà dase* — «Италия устроится без чужой помощи». Убеждение в этом быстро распространяется, и таков страх видеть все надежды разрушившимися в последнюю минуту, что господствует почти всеобщее расположение следовать за кем бы то ни было, лишь бы он взял на себя инициативу. Италия ищет предводителя; в ком нашла бы она его, не было бы и сомнения, если бы пьемонтское правительство, принявшее власть после Виллафранкского трактата, исполнило свою обязанность.

«Несчастьем не для одного Пьемонта, но и для всей Италии было то, что Кавур удалился в эту, самую критическую, минуту, потому что с ним в эту минуту потеряла силу партия, понимавшая, что Пьемонт для исполнения своего предназначения в Италии должен расширить свои владения, чтобы они вместили новый элемент, — понимавшая, что Пьемонт должен сделаться предводителем Италии. Нынешнее министерство, или, лучше сказать, глава его, вместо того чтобы расширить пьемонтские учреждения, хотело бы втеснить всю Италию в Пьемонт. Нынешний первый министр служит представителем узкого пьемонтского провинциализма. В правительстве есть люди, видящие безрассудство такого стремления, например, министр внутренних дел (Ратацци); но сила первого министра такова, что его взгляд пересиливает идеи всех его товарищей. Он остался непоколебим после Виллафранкского трактата и не утратился трудностей. Это вменяется ему в большую заслугу и, конечно, заслуживало бы большого уважения, если б, оставшись в министерстве, он продолжал идти прежней дорогой; но этого не следовало бы и ожидать: это значило бы требовать, чтобы обыкновенный человек совершал геркулесовские подвиги.

«Результат этого — жаркие споры, не подвигающие дела вперед. Никогда не было столь благоприятного случая доказать свету, что Пьемонт понимает свое назначение быть предводителем и организатором итальянского движения. Ломбардия была окончательно присоединена, и никакие политические соображения не мешали заняться ее политическим и военным устройством. Но вот прошло уже три месяца и Ломбардия все еще остается в том неустроенном положении, как была при начале движения. Ни один ломбардский полк не прибавился к национальному войску, кроме легионов Гарибальди; а во внутренней организации только и было сделано, что попытка ввести сардинскую систему налогов, сардинские уголовные законы и сардинскую систему первоначального обучения; но эту попытку надобно было бросить, потому что она не нашла сочувствия в Ломбардии. Натуральным образом, нужны были итальянские, а не пьемонтские учреждения. Новые обстоятельства требовали новых учреждений, новых законов на более широком основании. Кажется, даже правительство чувствовало эту потребность, потому что министр внутренних дел формально выразил ее при вступлении в должность и учредил комитеты для составления новых законов. Но до сих пор нет никакого следа деятельности этих комитетов, и все остается в прежнем виде.

«К счастью, не весь Пьемонт разделяет мнения или апатию правительства, и если вверху летаргия, то внизу есть жизнь, и жизнь здоровая. Ка-

жется, как будто деятельность, прежде исключительно принадлежавшая правительству, перешла к журналистике. В Турине явилось множество дешевых газет: они продаются в большом количестве, находятся в руках каждого; это показывает, что начинает пробуждаться интерес к свободному обсуждению дел. Не только число газет возросло, но и характер их чрезвычайно улучшился. Каждый, кто помнит высокопарную декламацию и нелепую полемику, составлявшую характер сардинской журналистики до войны и во время войны, замечает чрезвычайную перемену. Это несомненно служит началом здорового выражения общественного мнения, которого до сих пор почти не было в Сардинии. Ныне в газетах господствует серьезность, показывающая, что в Пьемонте есть люди, понимающие важность настоящей минуты. Тон газет стал гораздо спокойнее прежнего; в них стало меньше цветистой фразеологии, политические идеи стали формироваться.

«Заметим же, что все газеты, почти без всяких исключений, стали в оппозицию правительству и требуют, чтобы оно пробудилось от своей летаргии. Но еще отраднее этой оппозиции то, что многие из них поняли, что такое нужно для прекращения летаргии правительства, поняли, что для этого нужно созвать парламент. Так, например, в нынешнем номере своем *Diritto*, газета, стоящая во главе этого движения, оканчивая прекрасную статью о внутренней реформе, спрашивает, имеет ли министерство власть составлять новые законы без согласия парламента, потому что эта исключительная власть была дана ему только на время войны. Статья могла бы идти дальше и сказать, что нынешнее министерство не получило права существовать, потому что власть его не была утверждена палатами, которые еще не собрались со времени войны».

Нельзя не согласиться с автором этих писем, что сардинское правительство решительно не исполняло до сих пор своей обязанности в деле итальянского единства. Правда, велики затруднения и страшны опасности, отнимавшие у него прежнюю смелость и решимость. Последняя война поставила Пьемонт в великую нравственную зависимость от Франции. Мало того, 50.000 французского войска остаются в Ломбардии, чтобы обеспечивать со стороны сардинского правительства исполнение обязанностей повиновения, возлагаемых на него, по мнению императора французов, благодарностью за помощь в войне. Австрия обнаруживает замысел возобновить войну, как только убедится, что Франция не станет вновь защищать Италию. Но как ни велики опасности, все-таки следовало делать, по крайней мере, то, в чем не было риска. И если б это было сделано, теперь Сардиния могла бы уже не бояться никакого риска за себя и за остальную Италию. В самом деле, кто мог помешать Сардинии усиливать свою собственную армию, кто мог помешать ей помогать своими советами временным правительствам Центральной Италии, руководить их действиями и после каждой новой меры, принятой ими в пользу единства, принимать соответственную меру в собственных владениях? Сардиния могла бы говорить, что вынуждена к такой политике общественным мнением, следует ей только из опасения пробудить революционные беспорядки своим бездействием. Если бы она поступала хотя таким образом, она имела бы теперь 150.000 собственного войска и 100.000 войска в Центральной Италии. С такими силами она не нуждалась бы ни в чьей защите

от австрийцев. Что же касается до французских войск, остающихся в Ломбардии, события давно доказали, что император французов колеблется употреблять их даже против революционных правительств Средней Италии, не имеющих армии; тем менее мог он до сих пор употребить их против законного правительства союзной с ним державы. Но напрасны были все внушения расчета, все требования сардинского народа, все просьбы и усилия остальных итальянцев: сардинское правительство руководилось исключительно угодливостью перед Францией и, оставляя само себя беззащитным против австрийцев, оставляло беспомощной Центральную Италию.

Такая жалкая политика Пьемонта в значительной степени извиняет медлительность и слабость, которую обнаруживают правительства Центральной Италии до последнего времени, хотя все-таки нельзя не сказать, что они изменяют обязанности, лежащей на правительствах в критические времена, оставаясь позади народных требований, вместо того чтобы руководить ими и идти впереди народа. Они допустили ослабнуть народному доверию к ним и этим объясняется пармская сцена 5 октября: толпа прямо говорила, что хочет расправиться сама с графом Анвита потому, что не надеется на правительство. В последнее время правительства Центральной Италии начали, кажется, понимать свою ошибку; по крайней мере, стали они с половины сентября повиноваться общему голосу, требовавшему от них большей решительности. Мы знаем, что в последние недели диктаторы герцогств *, Тосканы и Романьи декретировали много мер, клонящихся к установлению фактического единства между их областями и Пьемонтом: они постановили, что официальные действия сардинских властей должны быть признаваемы и в Центральной Италии, например, полиция Тосканы или Романьи обязана исполнять решения сардинских судов, если лица или имущества, которых касается решение, находятся в этих землях; они постановили также, что ученые степени, даваемые сардинскими университетами, признаются и в Центральной Италии; они ввели сардинский уголовный кодекс, провозгласили, что Центральная Италия принимает сардинскую конституцию; они решили, что должно быть установлено единство мер и веса между Сардинией и Центральной Италией и введена сардинская монетная система; объявили, что в их землях не нужны особенные паспорта или визы для путешественников, имеющих паспорт или визу от Сардинии, и уничтожили таможи между Сардинией и Центральной Италией; наконец, для всех официальных актов они приняли формулу, показывающую расширение власти сардинского правительства на Центральную Италию: «В царствование Виктора-Эммануила, избранного короля»; приняли сардинский герб и флаг. Постыдно ска-

* Пармского и Моденского. — Ред.

зять, что во всех этих мерах они не получили одобрения со стороны сардинского правительства, — мало того, сардинское правительство до сих пор не выразило даже, согласно ли оно на эти меры хотя тогда, когда они уже исполнены. Из правителей Центральной Италии пармский и моденский диктатор Фарини, с самого начала действовавший решительнее тосканского своего товарища — Риказоли и романьольского — Чиприани, раньше их понял и необходимость в этих мерах для осуществления народных требований. Его влиянию и примеру надобно главным образом приписать то, что два другие диктатора начали хотя отчасти исполнять свою обязанность. В последние недели гораздо деятельнее прежнего занялись правительство Центральной Италии и устройством военных сил. Говорят, что Фанти, назначенный, наконец, главнокомандующим центральной итальянской армии, надеется скоро иметь 60.000 войска вместо прежних 20.000. Кажется, что дано несколько больше свободы энергическому Гарибальди, которому прежде самым тесным образом связаны были руки.

Все это прекрасно, хотя следовало бы, по крайней мере теперь, тосканскому и романскому правительствам решительнее отбросить апатию и медлительность, остатки которой все еще слишком заметны в их действиях, как будто бы только против воли вынуждаемых у них только требованиями народа и влиянием Фарини. Но мы боимся, не окажется ли в результате, что невознаградима потеря долгих месяцев, пропавших в бездействии, не окажется ли при наступлении решительной минуты, что прежняя апатия правительств Центральной Италии и продолжающееся малодушие сардинского правительства безвозвратно повредили делу итальянского единства. Мы боимся, не застанут ли Центральную Италию все еще не подготовившуюся к обороне те попытки к восстановлению прежнего порядка вещей, слухи о которых усиливаются с каждою неделей, и когда настанут дни борьбы, не пропустит ли сардинское правительство по своему малодушию тех минут, в которые помощь его могла бы спасти Центральную Италию*.

Давно известно, что в Мантуе собираются так называемые войска герцога моденского и великого герцога тосканского, т. е. наряжаются в моденские и тосканские мундиры австрийские солдаты. Масса прежних тосканских и моденских войск осталась на родине, чтобы служить национальному делу, но было в той и

* Письмо из Флоренции, напечатанное в этой книжке, изображает вещи в свете, гораздо более отрадном, нежели в каком представляются они нам. Мы понимаем, что трудно очевидно воскресения народа не очаровать, не забыть на минуту о грозе, собирающейся над светлым праздником. А если не иметь в виду опасностей, то, разумеется, легко осудить тех людей, которых порицает наш корреспондент. Мы боимся того, что когда увидят нужду обратиться к этим людям, будет уже поздно.

другой земле по несколько сот человек преторианцев, которые удалились в австрийский лагерь со своими государями. Тотчас же по заключении Виллафранкского мира эти немногие дезертиры были обращены в кадры для принятия в свои ряды гораздо многочисленнейших товарищей из австрийской армии. Благодаря этой простой системе переодевания, отряды, называвшиеся теперь армиями герцога моденского и великого герцога тосканского, стали довольно многочисленны, и теперь достоверно, во-первых, то, что они предназначаются к вторжению в Модену и Тоскану, а во-вторых, что в связи с этим вторжением готовится нападение на непокорные земли с противоположной стороны: папские войска давно уже стоят на границах Романьи. Если бы под командою Кальберматтена, начальника так называемой папской армии, находились только прежние солдаты Пия IX, они не представляли бы большой опасности для Романьи. Но и тут производится тот же фокус, как с мнимыми корпусами герцогов моденского и тосканского. Каждый день присылаются в лагерь Кальберматтена партии переодетых австрийских солдат под именем рекрутов, нанятых в Церковной области. Месяца два тому назад количество кальберматтеновых войск не увеличивалось от этих присылок, потому что настоящие уроженцы Церковной области уходили из армии целыми толпами, не желая сражаться против соотечественников, делу которых сочувствуют. Но, разумеется, когда все они ушли, а австрийцы все продолжают приходить, то сила армии возрастает. Она значительно увеличилась также через поступление нескольких тысяч швейцарцев, ушедших или удаленных из Неаполя. Читатель знает, что старинные договоры швейцарских правительств о службе швейцарцев иностранным державам, или так называемые капитуляции, не возобновляются с той поры, как демократическая партия в Швейцарии окончательно взяла верх над патрициями¹, продававшими своих соотечественников реакционным правительствам Италии, нуждающимся в иностранных войсках для поддержания своей непопулярной политики. Летом нынешнего года кончился срок швейцарским капитуляциям в Неаполе. Неаполитанское правительство объявило, что оно оставит швейцарские полки на своей службе, но что они должны называться уже не швейцарскими, а неаполитанскими, и вместо своих кантональных знамен иметь неаполитанские. Это показалось обидным швейцарским солдатам, которые, разумеется, презирали неаполитанское войско; а еще важнее то, что с переименованием в неаполитанских солдат они опасались потерять высокое жалованье, которое получали до той поры, и быть сравнены в денежном отношении с неаполитанскими, получающими денег меньше их. В одном из их полков вспыхнул мятеж, солдаты беспорядочною толпою бросились на дворцовую площадь, объявляя, что требуют возвращения своих знамен или отставки. В сущности, они

были правы, и если в опрометчивости нарушили дисциплину или даже совершили преступление, убив и переранив нескольких офицеров, останавливавших движение, следовало разобрать дело судебным порядком и наказать виновных, не подвергая всех без разбора убийству. Но в Неаполе господствуют иные понятия и правила: по толпе солдат, собравшихся на площади и ограничивавшихся просьбами, пустили картечь, потом ударили на них в штыки. После того, разумеется, нельзя было терпеть в Неаполе и других швейцарских полков, раздраженных предательским истреблением своих товарищей. Швейцарцы получили отставку, то есть дано было им всем то самое, чего некоторые просили до резни; для чего же было стрелять картечью и колоть штыками? — спросит читатель. Подобные вопросы неуместны относительно Неаполя. Там все делается не потому, чтобы могло быть нужно или полезно, а просто потому, что так вздумалось поступить. Но мы ведем речь об источниках усиления папской армии, а не о принципах, по которым ведутся дела в Неаполе. Большая часть швейцарцев, удаленных из Неаполя, поступила в папскую армию, стоящую на границах Романьи. Благодаря этому и переодетым австрийцам, армия получила солдат, пригодных не для одного грабежа, как прежде, но и для грабежа, и для сражений. С недели на неделю ждут столкновений между нею и корпусом инсургентов, давно стоящим против нее под командою Гарибальди. Несколько раз уже разносились слухи о схватках, впрочем, еще преждевременные; но Гарибальди на-днях отдал по своему корпусу приказ, говорящий о близости решительных действий. Понятно, почему папские войска медлят нападением: кардиналы со дня на день ждут, что император французов формально выразит намерение вступить за них или позволит австрийцам послать для усмирения Романьи корпус уже без переодевания. Кроме австрийцев, есть у папы другие помощники. Давно уже известно, что король неаполитанский готов послать свои войска для усмирения Романьи; они уже придвинуты к папским границам, и свидание короля с папою в Кастель-Гандольфо положительно имеет целью переговоры об этом пособии. Не одно только сходство принципов между папским и неаполитанским управлением, не одна только преданность неаполитанского правительства интересам папы возбуждает в короле усердие помочь усмирению Романьи: есть у него и прямая собственная надобность постараться об этом деле. Неаполь наполнен слухами, будто бы Гарибальди хочет вступить в неаполитанские владения, чтобы его корпус послужил точкою опоры для восстания, на которое готовы жители всех неаполитанских провинций, от одного конца королевства до другого. При всей неправдоподобности такого движения, неаполитанское правительство серьезно боится его, слишком хорошо зная, как легко оно могло бы воспламенить все население королевства. Говоря о

вступлении на престол нового короля, мы замечали, что пока можно еще и не сообщать никаких подробностей об этой перемене, потому что она не произвела ровно никакой перемены в системе неаполитанского управления. Действительно, до сих пор все остается в этом королевстве попрежнему, стало быть, не уменьшилось, а, напротив, увеличилось общее недовольство, господствовавшее в Неаполе при Фердинанде II, усилившись и ожесточившись от разочарования в надежде на реформы, которых ожидали от нового короля.

Таким образом, с одной стороны собираются, при первом разрешении от Наполеона, вторгнуться в Центральную Италию австрийцы в мундирах солдат герцога моденского и великого герцога тосканского, с другой стороны собираются вторгнуться в мундирах папских солдат те же австрийцы, с примесью действительных папских солдат. В случае надобности они будут подкреплены войсками короля неаполитанского. Могут получить они подкрепление и от Испании: давно уже ходят слухи, что Испания претендует на право вступить за герцога пармского, принца испанской династии, предлагает свои услуги и папе, по своему усердию к католичеству, а больше для того, чтобы эту услугу превратить в милость досаду кардиналов, которые сердятся на Испанию с той поры, как во время последней революции конфискованы там огромные владения монастырей. Испания готовит теперь очень большое войско — от 30 до 50 тысяч — для экспедиции против некоторых мароккских разбойничьих племен, беспокоящих ее владения на африканском берегу. Мароккские разбойники, конечно, достойны наказания; но почему же, если будет разрешение от Франции и просьба от папы, не обратить хотя часть этих сил и на усмирение инсургентов Романьи, которые хуже всяких разбойников в глазах каждого порядочного консерватора? Вот мы уже насчитали довольно сил для нападения на инсургентов; но австрийцы со дня на день ждут, что Франция позволит им войти в непокорные области в собственных мундирах, а у них войска в собственных мундирах в Венеции сосредоточено, говорят, до 250.000 человек. Притом — почему знать? — могут и французы, оставленные в Ломбардии, пособить делу укрощения гнусных убийц Анвита и еще более гнусных для консерватора либералов, непокорство которых довело дело до того, что Анвита, вместо того, чтобы вешать других, сам подвергся смерти.

Мы все говорим о фактах, о солдатах, а до сих пор еще не упомянули о том, в каком положении находится итальянский вопрос по дипломатическим переговорам, известия о которых занимают всего больше места в газетах. Читатели знают, как мало значения мы придаем этой стороне дела. Осмелимся даже признаться, что с тех пор, как мы пишем эти обзоры, мы не прочли до конца ни одной из тысяч напечатанных по итальянскому и другим делам депеш, которые для многих кажутся столь важ-

ными, а иногда даже и очень интересными. После такого признания мы уже очень смело можем прибавить, что ход цюрихских конференций, опечаливших своей ничтожностью даже терпеливейших любителей этого рода совещаний, очень мало интересовал нас. Кажется, конференции покончились, — мы не поручимся, Впрочем, верно ли мы запомнили известие, слишком бегло прочитанное нами, — быть может, оно говорило только, что цюрихские конференции скоро кончатся, а быть может, говорилось в нем и совершенно противное — именно, что конференции еще не скоро кончатся. Читатель, надеемся, простит нашу невнимательность и забывчивость. А впрочем, нет, мы не ошиблись: должно полагать, что цюрихские конференции кончились, потому что подписан в Цюрихе трактат, подтверждающий все условия Виллафранкского мира, но, впрочем, подтверждающий их, по какой-то странности, очень недостаточно, так что для достаточного подтверждения нужно созвать европейский конгресс. Опять изменила дрянная память: трактат не подписан еще, а только подписывается. Но, впрочем, беда невелика: подписан ли он или еще только подписывается, это не составляет большой разницы. Во всяком случае, консерваторы и мы вместе с консерваторами, которых обыкновенно защищаем против либерального легкомыслия, были очень утешены известием, — какого, впрочем, всегда и ожидали, — что подписываемый или подписанный в Цюрихе трактат действительно подтверждает все виллафранкские условия. Зато опечалены мы были подтверждением также постоянного нашего ожидания, что хотя трактат и подписан и виллафранкские условия подтверждены, но конференции с трактатом своим не могли решить ни одного из вопросов, определяемых этими условиями, кроме только одной передачи Ломбардии, то есть уже совершившегося факта, о котором не было никаких споров, следовательно, не нужно было и никаких переговоров. Что касается остальных вопросов, особенно восстановления низвергнутых правительств Центральной Италии, то эти вопросы передаются на решение конгресса, потому что не решены, хотя в то же время и решены, и, например, положено, что низвергнутые правительства должны быть восстановлены.

Как постичь всю эту тонкость и решенную нерешенность или нерешенную решенность, мы, к сожалению, решительно не решаемся и отгадывать. Но если забыть о ней, как будто бы и не было нами прочитано ни одного известия о цюрихских конференциях, и просто, без помощи всяких дипломатических сообщений и объяснений сообразить, чем должны были кончиться цюрихские конференции по известному всем положению фактов, тогда можно будет понять, в чем должно состоять дело. Франция покровительствует Австрии; потому Австрия несговорчива и подняла такие страшные притязания, что Сардиния не могла согласиться ни в чем, кроме того, что согласна принять Ломбардию,

которую давно приняла. Затем Франция и Австрия подтвердили, что остаются при виллафранкских условиях, то есть Франция обязывается по мере возможности поддерживать на европейском конгрессе австрийские требования, на которые уже согласилась в Виллафранке, — обещание, кажется, совершенно лишнее. Сардиния осталась к Австрии в прежних отношениях, и упрямство это принуждает Францию и Австрию передать дело европейскому конгрессу. Да, мы забыли, что в известиях о результате цюрихских трудов есть две вещи, которых можно было и не ожидать: во-первых, кроме того, что Сардиния обязана принять на себя часть австрийского государственного долга, соразмерную населению провинции, отошедшей от Австрии, — и, лучше сказать, не соразмерную, а гораздо большую, — кроме этого, Сардиния обязана еще уплатить Австрии вознаграждение за уступку Ломбардии; говорят, что величина этого платежа определена в 40 миллионов гульденов (26 миллионов р. сер.) Это хорошо. Во-вторых, оказывается, что Франция должна также получить от Сардинии вознаграждение за свою помощь, — имя вознаграждения заменяется, впрочем, названием простой уплаты за продовольствие и амуницию, которыми сардинские войска пользовались из французских магазинов; говорят, что эта уплата не превышает 60 миллионов франков, — мы полагаем, что она может оказаться и более значительною. Прибавляют, что по затруднительности такого платежа для сардинских финансов, устраиваемых уплатою вознаграждения Австрии, может поступить взамен его Савойя. Читатель помнит, что перед войною ходил слух, будто Кавур купил помощь Франции и надежду на приобретение Ломбардии, Венеции и Центральной Италии — согласиём на присоединение Савойи к Франции. Потом и во время войны, и особенно по ее прекращении постоянно происходили и продолжают в Савоие попытки поднять агитацию для выражения жителями ее желания присоединиться к Франции. Но дело представляет много затруднений, потому что расширение французских границ возбудило бы слишком сильное неудовольствие в других державах. На этом основании мы без доказательств более несомненных не будем предполагать во французском правительстве стремления к обмену денежного требования с Сардинией на уступку Савойи. Но как бы то ни было, мы видим, что сардинцы и ломбардцы должны расплатиться за свое соединение дороже, чем ожидали.

Итак, война не решила итальянского вопроса; не решили его и цюрихские конференции: теперь возлагается надежда на европейский конгресс. Как сильна должна быть надежда на удовлетворительное устройство итальянских дел конгрессом, будет нам время поговорить тогда, когда он соберется, а теперь пока идет речь еще о том, соберется ли он. Английское правительство говорит, что может принять участие в устройстве судьбы Италии

только в таком случае, если основанием ему будет принята свободная воля самих итальянцев; Morning Post, орган нынешнего министерства, объявляет, что низложение прежних династий и выражение желания присоединиться к Пьемонту английское правительство признает фактом не только совершившимся, но и законным, и не может одобрить никакого действия или решения, которое вело бы к его нарушению. А между тем, по Цюрихскому трактату Франция с Австриею подтверждают свое прежнее решение о восстановлении низложенных династий. Итак, надобно еще подождать, каким способом успеют склонить Англию к согласию на участие в конгрессе.

Но читатель, конечно, знает, что уже придуман способ согласить обязательство, принятое Франциею, с «свободным желанием» населения Центральной Италии. Этого легко достичь через восстановление низложенных династий. Из разных возможных переделок Франция и Австрия остановились пока на следующей. Часть Пармского герцогства присоединяется к Пьемонту — итак, Пьемонт не может жаловаться. Другая часть этой земли присоединяется к герцогству Моденскому, и все это вместе отдается бывшему герцогу пармскому. Великий герцог тосканский получает обратно свои прежние владения. Предварительно герцог и великий герцог объявляют, что каждый из них дает отдаваемой ему стране «либеральную конституцию». Эти конституции составляются по общему согласию Франциею и Австриею, впрочем, будут походить более на французскую, чем на австрийскую, во-первых, сообразно тому, что Франция теперь сильнее, стало быть, и понятия ее имеют перевес над австрийскими в общих соображениях, во-вторых, и потому, что австрийская конституция не так либеральна, как французская, а тут нужен либерализм. После этого объявления предлагается жителям Модены (и части Пармской области) и Тосканы, хотят ли принять герцога и великого герцога, дающих им такие либеральные конституции. Но читатель помнит, что мнение должно быть выражено жителями свободно; для этого предварительно принимаются меры для освобождения их от происков и нравственного принуждения со стороны Сардинии, потому что по отчетам графа Резе и графа Понятовского, бывших в той части Италии по поручению французского правительства, Сардиния терроризирует Парму, Модену, Тоскану, и решение этих стран о присоединении к Пьемонту было вынужденное. Какие именно меры нужно будет принять для освобождения их от пьемонтского угнетения, будет зависеть от удобства обстоятельств: быть может, удобно будет ввести в эти области французские войска; быть может, найдутся средства иначе обеспечить свободу жителям при выражении согласия на покорность герцогу и великому герцогу. Но в том парижский политический круг не сомневается, что при надлежащем обеспечении свободы выражения мнений в Тоскане и Модене с прибавляемой к ней

частью Пармы большинство голосов будет подано в пользу герцога и великого герцога. Таким образом, условия Виллафранкского мира относительно этих стран исполнятся по свободному желанию самих жителей.

Герцог моденский взамен своего герцогства, передаваемого герцогу пармскому, получает денежное вознаграждение.

Само собою разумеется, что подробности этого плана могут измениться, но для нас важна сущность его.

Излагая его, мы не говорим о Романье: это потому, что судьба ее решена Франциею гораздо определительнее, нежели участь Тосканы и герцогств. Положительно и достоверно известно, что Франция решилась восстановить в ней власть папы. Этого требует от Наполеона необходимость. Он не хочет слишком раздражать ультрамонтанскую партию, а она не простила бы согласия на присоединение Романии к Пьемонту. По всей католической Европе уже поднята агитация в этом духе. Французские епископы принимают в ней деятельное участие. В бордосской речи император выразил порицание волнению, которое они производят своими «пастырскими посланиями» (*mandemens*), но в той же речи он сказал, что не захочет отнятия провинций у папы. Ультрамонтанским газетам запрещено печатать «пастырские послания», но *Univers*, главная из них, объявила своей публике об этом запрещении твердым и гордым тоном, с угрозами, выражающими сознание, что правительство не может не уступить требованиям ультрамонтанской партии. А между тем, именно в Романье восстановление прежнего порядка потребует наибольших усилий, потому что раздражение против него там глуже укоренилось в массе, чем где-либо в Италии. Мы приведем одно из писем итальянского корреспондента *Times'a*, показывающее и силу, и причины этого чувства.

«Феррара, 7 октября.

«Вчера обедал я в общей зале гостиницы св. Марка в Луго. За разными столами сидели люди почти из всех частей Романии. Обмен слов от одного стола к другому скоро произвел общий разговор, благодаря общительности итальянского характера. Луго — торговый город, и его ярмарка знаменита по всем легатствам. Большинство обедавших были фермеры и мелкие купцы, но некоторые из присутствовавших принадлежали к сословию более образованному. После нескольких мелочных замечаний разговор обратился к общему предмету разговоров по всей Италии — к политике. Уверенность этих людей в том, что они избавились от монашеского управления, равнялась твердостью своею только силе ненависти, с которою все они говорили о нем. Мне вздумалось, что можно теперь испытать их, и я сказал, что «во всяком случае» легатства наверно останутся под отдельным светским управлением, «если бы даже» они снова признали верховную власть папы. В их ответе не было досады, не было неудовольствия на мое неблагоприятное для них предположение. Они отвечали спокойным тоном железной, непоколебимой решимости. Не будет моего «если бы даже» и «во всяком случае». Они говорили, что их освобождение от монахов — дело конченное, безвозвратное, независимое ни от каких случайностей.

«Вы знаете, — сказал студент из Форли, — что жителей в четырех легатствах² более миллиона. Половина этого числа погибла бы, прежде чем

какая бы то ни было человеческая сила успела восстановить папское владычество над другою половиною. Описывают очень мрачными красками ужасы войны, но что значит всякая другая война по сравнению с междоусобицею? Страсти нашего народа сдерживаются святою надеждою, что ему будет оказана справедливость. Но пусть Австрия или какая-нибудь другая большая держава попробует усмирить нас, и вы увидите, что ярость вспыхнет. Я не дам тогда двух байковок³ за жизнь монаха на нашей земле. Образ действий монахов подвергает наше терпение самому трудному испытанию. Одного из них заставили служить Те Деум⁴ спокойным, но положительным объяснением, что иначе его жизнь будет в опасности. В Форли мы, миряне, отслужили Те Деум сами. Во многих городах в это воскресенье не служили мессы. В одних духовенство не хотело служить ее, в других мы не допустили его служить. Между монахами и нами смертельная вражда, и она вспыхнет дикою, кровавою, открытою войною, если какая-нибудь могущественная держава примет их сторону против нас. В нашем видимом спокойствии, в этом удивительном порядке, соблюдать который мы обещались друг другу, есть расчетливость и система. Мы все единодушны. Мы не сделаем ни шагу без совершеннейшего согласия и взаимного обязательства. Мы теперь как стая собак на своре. Горе тем, которые заставят нас сорваться со своры! Пусть Европа судит о нашей непоколебимой твердости по нынешней нашей умеренности, по силе, с «которою мы сдерживаем себя!»

«Подле меня сидел мелкий торговец из Ponte Lago Scuro, лежащего близ Феррары. Он кивал головою в подтверждение каждому слову форлийского студента, и когда студент кончил, он продолжал:

«Чего мы не делали для примирения, для дружелюбного соглашения! Поезжайте по нашей области, на каждом шагу вы увидите арки и другие памятники, построенные для встречи Пия IX, когда он в последний раз путешествовал по нашей провинции, два года тому назад. Мы готовы были позабыть последние десять лет и приветствовать кроткого первосвященника, который начал свое правление святым восклицанием: Benedite, o Dio, all'Italia! — «боже, благослови Италию!» Мы были готовы отказаться от мацциниевых демагогов, лишивших его престола; извинить многое тем страхом, которому он подвергался, дурными иноземными влияниями, под которыми произошло восстановление его трона. Мы готовы были, — бог тому свидетель! — сложить все порицание за его дурное управление с него на его недобросовестных советников. Мы были убеждены, что ему нужно только приехать к нам, увидеть и услышать нас, чтобы рассудить между нами и нашими притеснителями. Папа приехал, видел нас, — что же он сказал нам, что сделал для нас? Все его политические действия ограничились прощением плута, делавшего фальшивую монету. Кроме этого, он дал нам только свое благословение, а какую пользу принесло нам это благословение? На следующую зиму вода в По замерзла на несколько футов, — случай, которого не бывало целые пятьсот лет, — и вся наша торговля, все сношения остановились, судоходство прекратилось, мельницы замерзли. А на следующую осень наводнение опустошило наши нивы. Да, такова польза благословений, получаемых нами от этих монахов. Вся их цель в том, чтобы делать нас бедными и невежественными. Когда у нас нет никакой промышленности, никакого образования, они любят это. Чем ближе вы будете подъезжать к Риму, тем яснее вы увидите положение народа, которое нравится папскому правительству, как идеал христианской нации. Им нужно, чтобы у нас в легатствах третья часть людей таскались по миру, собирая милостыню, как в Риме. Но, слава богу, мы еще не доставили им этого удовольствия и не доставим его никогда. Мы хотим быть образованными и трудящимися людьми. Посмотрите на эти благодатные долины, самые плодотворные в целом божьем свете, — мы создали эти нивы из болот. Наши феррарские долины, где прежде были болота, покрыты хлебом и рисом. Нашим землям не нужно удобрения, их нужно только осушать и уравнивать, это мы делали и делаем в поте нашего лица, а не по милости папы. Нам нужны только улучшения в земледелии. Нам нужны железные дороги и проселочные дороги, свободные сношения с

более образованными нациями и сбыт для наших продуктов. Могут ли нам дать это папа и его монахи? Можем ли мы это получить себе под их ярмом? Посмотрите, первая железная дорога из Пиаченцы в Болонью открыта только вчера, по удалении монахов. Как только они удалились, мы стали быстро строить железные дороги из Болоньи в Равенну, Римини и Феррару, хотя находимся среди военных затруднений. Посмотрите, что десятилетняя свобода сделала для Пьемонта. В 1848 году Пьемонт не имел и 4 миль железных дорог, а теперь он соперничает ими с Францией, Бельгиею, Германиею, и линии, устроенные и содержимые правительством, дают 20 или 30 миллионов казне. Кто не захочет быть пьемонтцем? Друзья и синьоры! прочь монахов, и да здравствует Италия и наш король Виктор-Эммануил!»

«Невозможно было устоять против простого, убедительного красноречия доброго купца, и я присоединил свой голос к общему громкому «ура». Мы расстались поздно вечером большими друзьями, и я заснул с твердой верой в пробуждение этого народа, который так давно был угнетаем».

Романья, как видим, говорит об отчаянном сопротивлении; но известно, что против регулярных войск не может удержаться ополчение, не усвоившее себе прочной организации, которая бы равняла его с дисциплинированной армией. Потому-то мы и опасаемся, что каждый упущенный для организации волонтеров день гибельно отзовется на судьбе земель Центральной Италии. Без борьбы они не сдадутся, но должно бояться того, что стройные батальоны подавят всякое сопротивление.

Теперь очевидно, что ждут только предлогов к вооруженному вмешательству. Смерть Анвита уже представила один такой предлог. В переведенном нами письме читатель видел, что подобных сцен будет немало, когда опасения в массе усилятся. Газеты стали со дня на день больше говорить о том, что приверженцы старого порядка, ободряемые слухами о близости вооруженной помощи, становятся отважнее прежнего и составляют заговоры. Само собою разумеется, это станет пробуждать революционные страсти в массе и революционные движения. Итак, предлогов к вооруженному <вмешательству> скоро будет гораздо больше, чем теперь.

Итальянский вопрос до сих пор исключительно занимает собою внимание Европы. Во Франции пробуждали некоторый интерес только те явления, которые были прямыми или косвенными его последствиями, — например, ультрамонтанская агитация в пользу папского светского владычества, о котором мы уже упоминали, и полемика газет против стеснений, которым они подлежат. Она составляет предмет отдельной статьи в этой книжке «Современника»⁵, и мы здесь заметим только, что требования, начавшие высказываться с такою силою, не могут долго оставаться без влияния на положение дел: надобно ожидать, что они или вынудят реформу, или заставят принять меры стеснения, более прежнего сильные. Во всяком случае, полемика эта свидетельствует, что общественное мнение, на время отвлеченное от

внутренних вопросов войною, возвращается к ним с усиленным интересом. По нашему правилу излагать подробно только те события, которые или особенно интересуют целую Европу, или имеют внутреннюю великую важность, мы, конечно, не станем утомлять читателя рассказами о том, что на алжирской границе началась у французов война с мароккскими племенами, которая, по всей вероятности, кончится тем, что французы несколько раздвинут границы своих африканских владений на запад⁶. Мы не будем говорить и о том, что французские войска в Кохинхине⁷ изнемогли от болезней и потому отказываются от мыслей об обширных завоеваниях в этой стране, — какое дело не только нам, но и самой Франции до завоеваний в Азии, когда в самой Франции надобно было бы производить еще много завоеваний над бедностью и невежеством?

Об Англии ничего не приходится нам говорить в этот раз. Национальным событием было то, что «большой корабль», the big ship, то есть «Восточный великан», Great Eastern⁸, уже начал свои прогулки по морю, и, несмотря на неосторожность в одной из технических подробностей при устройстве труб, проводивших воду в паровики, — неосторожность, которая произвела взрыв одной из этих труб, он оказался совершенно соответствующим надежде, какую имели на его достоинства. Он легко ходит по 25 верст в час под неполными парами; он остается непоколебим при волнении, производящем сильную качку в самых больших из прежних кораблей, и разве только в бурю будет подвергать своих пассажиров морской болезни. Самый взрыв засвидетельствовал чрезвычайную крепость его: он не потерпел никакого вреда от этого потрясения, которое разрушило бы, говорят, даже линейный корабль. Но Great Eastern — не политический факт, и мы здесь должны ограничиться этими немногими словами о нем. Сентябрь и октябрь месяцы — время совершенного затишья в государственной жизни Англии. Но в ноябре, когда по старому обычаю начинаются приготовления общественного мнения к приближающейся парламентской сессии, с удвоенною силою должна возобновиться агитация в пользу парламентской реформы, с которою соединится агитация в пользу финансовой реформы. Читатель знает, что люди, бывшие главными деятелями в лиге против хлебных законов, по их отменении образовали лигу в пользу финансовой реформы вообще. Они находят, что теперь наступила пора сильно поднять в парламенте вопрос о преобразовании системы английских налогов. Кобден и Брайт согласны с этим, и надобно ожидать, что митинги в конце нынешнего года будут очень оживленны, а парламентская сессия следующего года пройдет не так бесплодно, как сессия нынешнего — разумеется, если не возникнет опять опасений какой-нибудь войны со стороны Франции. Разрыв между хозяевами и работниками по строительной промышленности (Builders' Strike), о котором упоминали мы

в предыдущем обозрении, все еще продолжается вот уже почти три месяца, и до сих еще неизвестно, когда и как он кончится⁹.

В Германии продолжают толковать об агитации в пользу единства. Дело это приняло оборот, который для человека, незнакомого с характером германского сейма, может казаться подающим надежды, но в сущности ведет только к нескончаемой и совершенно бесплодной дипломатической переписке. Некоторые из второстепенных правительств Германии, чтобы избавиться от упреков за отсутствие патриотизма, вздумали предложить сейму заняться пересмотром союзного акта. История всех реформ, которые предполагалось совершить посредством сейма, доказывает полнейшее бессилие сейма сделать что-нибудь в духе улучшения; да и какие существенные улучшения могут быть предложены теми, которые должны потерять от всякого действительного улучшения? Если читатель вспомнит, что мы говорили в прошлый раз об этом, он согласится, что сейму предложены будут реформы ничтожные, да и те сейм после долгих и очень скучных споров найдет невозможными, если само население Германии не потрудится разъяснить ему, что не только предложенные реформы возможны, но необходимы еще другие, более важные.

В Австрии прежние надежды на замещение реакционной системы более свободною уступили место, как и следовало ожидать, горькому разочарованию. Венгерские протестанты, столь осчастливленные великою реформою, касавшеюся инспекторов школ, имеют неблагодарность объявлять, что подобные реформы просто комедия, насмешка. Министры отвечают, что они сами знают это, но реформ иного характера производить не могут. Они говорят правду. Их бессилие на добро действительно стало очевидно для всех.

Но самым занимательным, после итальянского вопроса, случаем в европейском политическом мире было открытие колоссального заговора в Турции, всего только за несколько дней до срока, назначенного к его исполнению. Заговор этот очень интересен как факт, опровергающий распространенное в Европе предубеждение, будто турецкое правительство идет во главе реформы, постепенно распространяющей в Турции цивилизацию, и будто бы оно действует в этом смысле вяло и плохо только потому, что нет в турецком обществе элементов, на которые могло бы оно опереться, нет многочисленной партии, которая хотела бы видеть Турцию цивилизованным государством. Характер открытого теперь заговора доказывает противное. Не говоря уже о христианском населении Европейской Турции, которое, разумеется, только того и желает, чтобы правительство шло путем реформ, мы видим теперь, что даже в турецком племени есть много людей, которые были бы рады очистить Турцию от азиатского деспотизма и фанатизма и помогать осуществлению всех тех улучшений, ко-

которые требуются от него европейскими державами и которых оно не делает как следует или не делает вовсе.

Само собою разумеется, что турецкое правительство употребляет все усилия, чтобы скрыть истинные намерения заговорщиков и выставить их фанатиками, хотевшими истребить христиан, и кровопийцами, хотевшими зарезать султана, и т. д.¹⁰ Но мужество, с которым заговорщики держали себя на допросах, одно уже могло бы свидетельствовать против таких обвинений. Люди, замыслы которых дурны, не были бы так бестрепетны пред лицом смерти. Они смело говорили министрам, своим судьям, о дурном управлении, которое губит Турцию, о произволе администрации, расточительности двора. Мы подождем, пока более разъяснится правда, затемненная теперь официальными клеветами, и приведем ныне только отрывок из парижской корреспонденции Times'a (3 октября).

«Натурально было бы предполагать, что заговор, в котором большая часть руководителей — азиатские турки, в котором замешаны очень многие мусульманские духовные, отчасти вызван мерами, принятыми в последние годы в пользу христиан. Но это предположение несправедливо. Я нигде не нахожу ему подтверждений, а очень длинное, подробное и интересное письмо, помещенное в Presse, которая ручается за верность его известий, положительно опровергает это. Оно говорит:

«Заговорщики думали о впечатлении, которое произведет на Европу подготовляемый ими переворот. Уверяют, что у них был составлен манифест для сообщения европейским державам. В этом акте излагались причины неудовольствия нации на Абдул-Меджида и его министров; представлялись сведения о дворцовых издержках и суммах, получаемых министрами. Далее объявлялось, что переворот не заключает в себе ничего враждебного прогрессу, цивилизации, а в особенности ничего опасного для христиан».

«Каждый народ имеет свой метод идти к своим целям. Турецкий заговор был, повидимому, нечто соответствующее нашей английской лиге в пользу финансовой реформы, только вместо собирания колоссальных митингов, мирной агитации и красноречия Кобдена и Брайта — у пашей, муфти и улемов были тайные собрания в доме одного из их товарищей близ мечети султана Баязета и замысел арестовать султана и его министров. Письмо, помещенное в Presse, продолжает:

«Месяца три тому назад составилось тайное общество с смелым намерением арестовать султана и изменить форму правления. Главное лицо общества, Шейх-Ахмед, курд, родом из Сулеймание, жил в медресе (училище) при мечети султана Баязета. Он человек просвещенный, чуждый фанатизма, уважаемый богослов и философ и известен непоколебимою честностью. Подобно почти всем туркам, Шейх-Ахмед печалился тем, как дурно ведутся государственные дела, возрастающую слабостью империи, административными злоупотреблениями, финансовыми беспорядками, безмерными дворцовыми издержками. Он строго осуждал действия министров и слабость султана. Его слушали с почтением, и слова его получали великую силу от нравственного авторитета, которым он пользовался. Ежедневно повторяющиеся факты подтверждали эти слова и увеличивали народное неудовольствие. Около шейха собрались люди, разделявшие его мысли; у них часто происходили совещания. Это были судьи, духовные, военные, люди среднего сословия и чиновники».

В числе друзей шейха находился черкес Гуссейн-Паша, человек горячего и решительного характера, получивший известность в карскую кампанию 1855 года. Он был тогда командиром первого арабистанского полка, отличился при отражении русского штурма и за это произведен был в генералы. В прошлом году он был менее счастлив в войне с черногорцами, где корпус его сильно пострадал; под ним самим было убито две лошади, и сам он едва спасся от смерти. Его удалили от командования. Возвратившись в Константинополь, он требовал военного суда, но ему отказали в этом. Оставшись без должности и считая себя обиженным, он питал неудовольствие на правительство. Познакомившись с Шейхом-Ахмедом, он охотно присоединился к его замыслу. Месяца два тому назад его определили в штаб румелийской армии. Он отказывался, но потом согласился и уехал. Говорят, что в его отсутствие руководителем движения положили сделать артиллерийского генерала Гассан-Пашу, командовавшего батареями и караулами на Босфоре. В числе заговорщиков был также Джафер-Паша, албанец знатного рода, некогда боровшийся против Порты, но во время дунайской кампании присоединившийся к армии султана с 200 своих соотечественников, вооруженных и обмундированных на его счет. После войны ему давали много обещаний, но ни одного не исполнили. Ему даже не позволили возвратиться на родину, а принудили остаться в Константинополе, давая ему около 7 фунтов (45 р. с.) в месяц. Были и другие значительные люди в числе заговорщиков; офицеров, замешанных в это дело, считают не менее 850 человек. Общество имело правильную организацию, и члены его разделялись на два класса: руководителей и простых членов.

«Только руководители знали друг друга. Простые члены знали только своих руководителей, из которых у каждого было под руководством от 100 до 150 человек. Надобно полагать, что число членов заговора было не менее 15 или 18 тысяч. План заговорщиков был таков: при возвращении султана из мечети или из дворца Топхане с обыкновенною свитою они хотели ждать его в самом узком месте той улицы, которая параллельно Босфору ведет из Топхане в Дольма-Бакши, где стоит кабуташский караул¹¹. Офицеры и солдаты этого караула должны были арестовать султана; все они были на стороне заговорщиков. После арестования султана хотели пустить с кабуташского крыльца ракеты, чтобы дать сигнал полку, расположенному в Кулали, на другой стороне Босфора. Отряды этого полка должны были идти, чтобы арестовать военного министра Риза-Пашу, великого визиря Аали-Пашу и министра иностранных дел Фуад-Пашу».

«Других министров, президентов и членов советов также хотели арестовать и, подобно султану, держать под стражей. Говорят, что Гассан-Паша, сделавший донос на заговорщиков, утверждает, будто бы изменил им, узнав, что они хотят убить всех арестованных и самого Абдул-Меджида; но общее мнение в Константинополе таково, что у заговорщиков не было намерения убивать кого бы то ни было и что Гассан выдумал эту историю для своего извинения. Заговорщики назначили уважаемых людей для замещения низложенных сановников, не спрашивая, впрочем, согласия у избранных ими кандидатов. Они хотели объявить султана низложенным и возвести на престол его брата или старшего сына. Все было готово; исполнение заговора было назначено на субботу 17 (5) сентября, но в среду 14 (2), вечером, Гассан явился к Риза-Паше и рассказал ему все. Быстро приняты были меры. В четверг, в пятницу и субботу множество людей было арестовано: они содержатся в Кулали, в Скутари и в других местах. Письмо продолжает:

«В числе заговорщиков, арестованных в пятницу, был Джафер-Паша; его посадили на большой каяк под стражею 10 солдат, чтобы отвести в Кулали. На дороге он расстегнул пуговицы широкого пальто, которое было на нем. В ту минуту, когда каяк вошел в быстрое течение, он вскочил и прыгнул в воду; солдаты схватили его за пальто, но он вынул руки из рукавов, нырнул

и исчез. Это было в половине восьмого вечером. Приближалась ночь, и Джафер-Пашу не нашли; только его феска всплыла через несколько минут на поверхность, тела его не отыскиали. Многие говорят, что паша умел чрезвычайно хорошо плавать и что он, может быть, спасся».

Выбирая достовернейшие черты из других известий, мы видим, что целью заговора было прекратить беспорядки управления и дворцовой расточительности введением в Турцию более правильной администрации и лучших законов, в том числе уравнением прав христианского населения с мусульманским.